С05
С-34

СИБИРСКАЯ ЖИВАЯ СТАРИНА

I (V)

1926

05
С34

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ОТДЕЛ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

СИБИРСКАЯ ЖИВАЯ СТАРИНА

Год издания IV

Вып. I (V)

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
М. К. Азадовского и Г. С. Виноградова

ИРКУТСК
1926.

[572. 9:39 (062) (57).

СИБИРСКАЯ ЖИВАЯ СТАРИНА. Изд. ВСОРГО под ред. М. К. Азадовского и Г. С. Виноградова вып. I(V) Ирк. 1926, in. 8° 184 стр.

Содержание: **Георгий Виноградов.** Народная педагогика. **А. Попова.** Песни партизан. **Г. В.** Из записей фольклориста. Музыканты в Тункинском крае. **Н. Хандзинский.** Блатная поэзия. **Анна Пруссак.** Из сибирских сказаний о декабристах. **П. Черных.** К вопросу о диалектологическом атласе Сибири. **П. Хороших.** Бирки иркутских бурят. **Н. Попов.** Пища тунгусов. **Е. Н. Орлова.** Юрацкие игрушки. **А. Тугаринов.** Андроновские могилы. **А. Соколова.** Материалы для изучения партизанской поэзии. **Этнологическая Секция в 1924/1925 г.г.].**

Гублит, № 748.

Заказ № 1529. Иркутск, тип. изд. «Власть Труда» Тираж 500.

Георгий Виноградов.

Народная педагогика.

(Отрывки и наброски).

Ряд высказываемых здесь мыслей и замечаний подсказан многолетним вниманием к двум процессам, наблюдаемым в народной жизни: процессу врастания нового поколения в жизнь взрослых, т. е. унаследования культурных накоплений юным поколением, и процессу введения во владение, т. е. передачи культурного наследства одним поколением другому. Некоторыми из наблюдений над первым процессом я имел случай поделиться в своих очерках по детской этнографии; заметки и мысли о втором процессе должны составить содержание работ по народной педагогике. Лишенный возможности (по обстоятельствам, о которых нет пользы говорить) в ближайшее время дать сколько-нибудь законченную работу, посвященную вопросам народной педагогики, я не хотел бы отказаться от мысли затронуть этот интересный вопрос хотя и в несовершенной форме miscellaneá.

Сделанная пометка о том, что это—„отрывки и наброски", обозначает не только незаконченность настоящей работы в отношении постановки вопроса, установки понятий, развития затрагиваемых тем и т. д., но и характеризует ее форму. Лишенные всякой системы, эти страницы предлагаются вниманию этнографов с некоторой надеждой на то, что поставленные здесь вопросы побудят других, более сведущих, лиц разработать их в желательно полном объеме. В задачу написания этих отрывков входило, кроме выделения малоизученного вопроса из ряда других в целях привлечения к нему внимания, указание на мало использованные источники изучения народной педагогики. Была при написании надежда и на то, что эти наброски смогут послужить в качестве программы при собирании материалов по народной педагогике; отсюда—популярность изложения и привлечение только общеизвестной педагогической и наиболее доступной этнографической литературы.

Если есть основания переживаемое время рассматривать, как „пору всеобщего расплава и сдвига“, то, быть может, не будет несвоевременным говорить о пересмотре вопросов, которые считаются более или менее решенными, и о необходимости некоторых изменений в трактовке тем, где, казалось бы, многое может считаться более или менее прочно установленным.

К таким вопросам в наших изучениях должен быть отнесен вопрос о народной педагогике.

Трудно сказать, почему у народоведов не хватило внимания к вопросам, которые относятся к народным идеалам, взглядам, путям и средствам воспитания и обучения. В этой области у нас сделано изумительно мало. Тому, кто взял бы на себя задачу дать хотя-бы общий очерк народной педагогики, предстоит встретиться с многими трудностями.

В нашей литературе мы находим очень мало сочинений, посвященных интересующей нас теме; отдельные сведения, заметки, попутные упоминания и т. п. рассеяны во многих статьях и сборниках материалов, но они никем не выисканы и не приведены в известность.

Во всей полноте вопрос об изучении народной педагогики у нас не ставился. Внимание наблюдателей и исследователей привлекало воспитание в простонародной среде в первые годы жизни ребенка. Капитальных работ, после известного труда Е. А. Покровского—„Физическое воспитание детей у разных народов преимущественно России“ [1], мы не имеем. Сетования автора на то, что „при всей тщательности своих изысканий, именно относительно воспитания детей в России“, он „мог собрать из печатных источников лишь только весьма скудный материал, нуждающийся в громадном пополнении“ (стр. 5), остаются в силе почти в такой-же степени, как и сорок лет назад. Правда, за это время появилось несколько небольших работ, посвященных народной педагогике [2], но они дают только небольшой материал. За это же время было опубликовано несколько программ по изучению народной педагогики [3], но эти программы представляют собою только краткие вопросники.

Интерес к народному воспитанию, видимо, не угас и теперь, если об этом позволительно судить по вновь появляющимся программным заметкам [4] и пополняющимся коллекциям „предметов первоначального воспитания детей“ в этнографических музеях [5].

Затруднения при изучении народной педагогики заключаются в том, что до сих пор нет попыток установки понятия

народной педагогики, определения содержания, границ, нет указаний на источники ее изучения, на методы разработки и т. д. и т. д. К этим трудностям, трудностям методологического характера, присоединяются затруднения иного порядка, затруднения, рождаемые общественной атмосферой. Потребовалось несколько десятилетий, чтобы „подлая", т. е. народная, поэзия уравнялась в правах на внимание с поэзией „книжной". Видимо, такую-же судьбу придется пережить народной педагогике. Мы заранее, до всякого фактического исследования, склонны отрицать серьезные возможности постановки вопроса.

Выдвигается несколько возражений против возможности говорить о существовании народной педагогики.

Педагогика, как научная дисциплина, есть систематизированное знание о воспитании и обучении. В народной педагогике,—если мы под этим термином будем понимать совокупность навыков и приемов, применяемых в целях формирования личности в определенном направлении,—не столько система, сколько сумма знаний и умений. Но это возражение нельзя считать основательным; ведь так же обстоит дело с другими проявлениями народной жизни: народной медициной или народной технологией мы называем не систему, а тоже совокупность известных знаний, навыков, умений, однако это не служит препятствием к применению названных терминов.

То, что мы называем народной педагогикой, представляется в совершенно иной форме, чем исследования по научной педагогике, в роде сочинений Ушинского, Кершенштейнера, Лесгафта, Гессена и т. д.,—вот другое возражение. Но строгой формы исследования лишены учение Сократа, творения Платона, писания Песталоцци, сочинения Руссо,—и тем не менее это обстоятельство не подсказывает нам мысли о непризнании их произведений, как педагогических.

Народные воззрения на воспитание, образование облечены в непривычную форму, выражены не всегда в точных и определенных терминах и т. д. Но то же наблюдается в народной медицине, в народной матеорологии и т. д. Форма и терминология имеют весьма важное значение, но не ими определяется сущность дела; нет никаких серьезных оснований держаться книжного предрассудка, по которому к философским и научным, в частности—педагогическим, относят лишь сочинения, написанные прозой, в принятом стиле и в определенной терминологии.

Самый термин *народная педагогика* обычно вызывает ассоциации, ведущие к розге, плети,—к грубому физическому наказанию. К народной педагогике относятся весьма скептически, потому что при сопоставлении с „научной“ педагогикой ставят их в неравные условия. Говоря о „научной“ педагогике, ее достижениях, всегда имеют в виду педагогические идеи, историю педагогических идей, а не педагогическую практику, не историю педагогической практики; а когда говорят о педагогике народной, то имеют в виду, главным образом, педагогическую практику. Берутся величины, сравнивать которые едва-ли законно. Если сравнивать, то нужно сравнивать идеи, теории „научной“ педагогики с идеями, „теорией“ педагогики народной, а практику первой—с практикой второй, верхи достижения одной—с верхами достижения другой. И тогда результаты сравнения будут, конечно, поняты и выражены иначе, чем теперь. Правда, истории народной педагогики или, точнее, истории идей народной педагогики восстановить мы не можем, но сопоставить практику народной педагогики с практикой педагогики научной было бы легко, если бы встретилась надобность подойти к ним „оценочно“.

Одну из причин невнимания к народной педагогике надо видеть и в том, что специальные педагогические сочинения, в частности—труды по истории педагогики, не уделяют должного внимания народным педагогическим воззрениям и народно-педагогической практике. Обычно в них речь идет—и то кратко—о воспитании у так называемых первобытных народов [6], при том чаще всего -- с чужих слов, никем не удостоверенных, идущих от тех времен, когда этнография—по справедливому, хотя и грубовато выраженному, замечанию проф. С. Глаголева—„переживала такое же состояние, какое зоология переживала в XVIII (веке). Курсы зоологии повествовали тогда о животных, которых никогда не существовало. Курсы снабжались фантастическими рисунками, изображавшими говорящих обезьян. Эти повествования и рисунки были обязаны своим происхождением рассказам путешественников, нередко страдающих известною слабостью охотников к преувеличениям и просто вранью. В XIX столетии подобного сорта путешественники делали сообщения о низком духовном уровне дикарей, которых они встречали. Эти сообщения шли навстречу предвзятым идеям и теориям, возникшим в эту эпоху, и потому встречали очень благосклонный прием... XIX век положил конец существованию фантастической зоологии. Позволим себе надеяться, что XX век

положит конец существованию фантастической этнографии“ [7]. Это будет с наступлением момента, когда в научный обиход будут введены данные, идущие не от лиц, „занимающихся“ этнографией, а полученные в результате внимательного наблюдения и строгого изучения всех сторон народной жизни, всех проявлений культуры народных масс.

А покамест этот момент не наступил, сочинения по исторической педагогике категорически утверждают, что воспитание у „первобытных“ народов остается на точке замерзания, оно не прогрессирует: не замечается развития ни в понятии воспитания, ни в понимании целей воспитания, мало изменяется и самый метод воспитания (Монро и др.). На чем покоятся эти утверждения, изучение каких источников приводит к ним? „Содержание, процесс и цели“ народной педагогики представляются омертвелыми, неподвижными потому, что мы не знаем (и едва-ли можем знать) истории народной педагогики. В то время, как научная педагогика отягощена своей историей, большим наследством прошлого, из которого ничто не терялось, почти все—и утратившее значение и имеющее его—сохранилось в писаниях нескольких десятков столетий,—народная педагогика претерпевает иную судьбу: сохраняемая и передаваемая только в устной традиции, она лишается того, что в данный момент народной жизни утратило значение, так же легко, как дерево осенью теряет пожелтевшие листья. Она не обременена и „рядами материализованных мыслей“, скопленных в книгохранилищах; ее бремя легко, потому что она сохраняет и несет не все свое прошлое, а лишь то из него, что признается нужным в данный момент [8]. И это нужное оберегается, рассматривается носителями народно-педагогических знаний, как духовная ценность, в охранении которой в какой-то мере заинтересован каждый при столкновении с противоположной тенденцией (вспомним отношение людей старого поколения к воспитанию ребят „по книжке“, в роде руководств: „Письма к матерям“ Галанина, „Мать“ Жука и т. п.).

Не зная истории народной педагогики, можно-ли говорить об ее омертвелости, неподвижности? Меняются формы жизни, изменяется ее уклад, изменяются взгляды. Все это не может не сказаться и в педагогике. Впрочем, если-бы даже и была установлена с несомненностью застойность, неподвижность народно-педагогических идеалов и средств, то и это не могло-бы служить причиной игнорирования народной педагогики. Жорес находит, что педагогические идеи Песталоцци—ретроградны. Но кто из историков педагогических учений обойдет имя знаменитого швейцарца молчанием, кто будет утверждать,

что его пора забыть? Народные воззрения можно считать „отсталыми“, т. е. не совпадающими с утверждениями научной педагогики, можно, если угодно, считать их „ретроградными“ и т. д. и т. д. Это зависит от точки зрения того, кто выносит суждение. Но это не меняет положения дела: как с фактом, с народной педагогикой приходится считаться.

Многие представители научной педагогики отрицают осознание цели в народной педагогике, видя в приемах и способах народного воспитания и обучения только механичность; пути и средства народной педагогики, в их суждении, случайны, не озарены сознанием, не связаны с общей идеей, не вытекают из мировоззрения, из философии.

С этими утверждениями связаны и указания на отсутствие в народной педагогике экспериментальной проверки сделанных наблюдений. В самом деле, трудно утверждать в народной педогогике наличие опыта, как такового, т. е. как способа проверки наблюдений, но следует помнить, что человеческому обществу пришлось поневоле проделать множество опытов, которые с большими основаниями можно считать заменяющими во многих случаях опыты преднамеренные, заранее обдуманные и при определенных условиях проведенные. Особенно это легко допустить именно в обсуждаемой сейчас области—в педагогике, т. е. в области искусства воспитания и обучения[9].

Необходимо отнестись с большим и беспристрастным вниманием к делу, чтобы формы и приемы, идеи и средства народного воспитания и обучения не были умалены в их значении, не дооценены.

Уже a priori имеются достаточные основания думать, что выдвигаемые против народной педагогики возражения преувеличены.

Народ живет не одно столетие; до появления европейской школы он имел своих мучеников за идею, разных мастеров, певцов, музыкантов, архитекторов, мыслителей, знатоков окружающего мира, медиков, агрономов и т. д. и т. д., которые каким-то образом наследовали, перенимали уменья, навыки, опыт уходящих в могилу поколений; не уносили и сами своих знаний в могилу, а какими-то путями и способами делали их достоянием своих наследников.

Воспитание и обучение существуют в народе столько же веков, сколько существует сам народ,—с ним родилось, с ним

выросло, отразило в себе всю его историю, все испытанные влияния, все его лучшие и худшие качества.

У народа были и есть известные представления, взгляды на жизнь, на воспитание и обучение появляющихся новых поколений, известные цели и задачи воспитания и обучения их, известные средства и пути воздействия на юные поколения и т. д. Совокупность и взаимозависимость их и дают то, что следует назвать *народной педагогикой*. Отрицание взаимозависимости слагающих или, лучше сказать, образующих народную педагогику элементов ни на чем не основано.

В педагогической и философской литературе уже неоднократно указывалось [10], что способы, пути и средства, которые применяет педагог-практик, являются только следствием и оборотной стороной принимаемой им теоретической истины. Распространяя это положение на предмет нашего внимания, следует сказать, что „всякая педагогическая система—даже там, где она выдает себя сама (или ее считают) за чисто эмпирическую науку,—есть приложение к жизни *философских воззрений*“ [11].

Хотя после трудов Деннета, Жонга, в особенности Вундта [12], после появления некоторых русских работ нет надобности доказывать факт существования народной философии,—все еще непривычно звучит выражение *народные философские воззрения*, как непривычно звучит и термин *народная философия*. Не имея нужды останавливаться на различных определениях философии, можно подойти к делу с положением общего характера: к философии относится все, что ведет к обоснованию, углублению и построению миросозерцания. С этой точки зрения и следует говорить о народной философии.

Перед народным умом стоят те же философские вопросы, над разрешением которых бьются признанные философы. Начать с вопросов:

Отчего у нас начался белый вольный свет?
Отчего у нас солнце красное?
Отчего у нас млад светел месяц?
Отчего у нас звезды частые?
Отчего у нас ночи темные?
Отчего у нас зори утренни?
Отчего у нас ветры буйные?
Отчего у нас дробен дождик?
Отчего у нас ум-разум?

Можем ли мы говорить о народном мировоззрении, о том или ином народном взгляде на известный предмет или явление

в том смысле, что мировоззрение или взгляд, засвидетельствованный в нескольких случаях, может считаться общепринятым в народе, общенародным? Зная, что далеко не каждую народную песню знает всякий простолюдин, даже не всякий песенник, мы тем не менее называем песню народной; то же самое мы можем сказать о народном обряде: не всякий народный обряд выполняется каждым простолюдином; тем не менее мы говорим именно о народном обряде. То же самое мы наблюдаем и в цивилизованном „обществе“: там та или иная философская система, известное мировоззрение являются достижением, а часто и достоянием, лишь думающей части этого общества или даже отдельных групп его. В какой мере основательно мы говорим, напр., о немецкой философии (хотя и знаем, что не каждый немец знаком с нею), в такой же мере мы правы, когда говорим не только о народном мировоззрении, но и о *народной философии* (хотя и знаем, что не каждый крестьянин—Бондарев, Сютаев, Тимофей Заяц)[13].

Указывают на противоречивые взгляды, утверждения, которые можно извлечь из произведений народного словесного творчества, которые находим в философском фольклоре[11], или можем услышать от народных мудрецов. Интересующие нас материалы, и в самом деле, обнаруживают многообразие взглядов, суждений—то сходных, то скрещивающихся, то взаимно противоречивых,—которые нельзя считать только историческим отслоением разных эпох. Носители и хранители народной мудрости были и остаются людьми разных характеров, разного склада ума, разных мировоззрений. Понятно, что и высказанные и высказываемые ими суждения и взгляды не будут одинаковыми. Известная практическая философия „авось“ едва-ли могла быть создана автором поговорки, в которой говорится: „сам не будь плох“... Сютаев и Тимофей Заяц не повторяют один другого.

На противоречащие друг другу высказывания философского фольклора и других источников изучения народной философии правильно будет посмотреть, как не выражение разных течений или направлений народной философской мысли. Народная философия—это большая рукопись из неопределенно большого количества не пронумерованных листов, разнесенных ветром по земле. Одни листы читаются целиком и без затруднений, другие вызывают вопросы, третьи не поддаются прочтению, а иные совсем унесло куда-то. Задача исследователя сводится к тому, чтобы собрать сохранившиеся листы и, руководясь смыслом написанного и читаемого, расположить их в порядке, вызывающем [illegible] возражений. Без допущения раз-

личных течений или направлений в народной философской мысли задача окажется совершенно невыполнимой.

Но разные исследователи могут по-разному прочесть или истолковать собранные листы и расположить их каждый по-своему. Кто из них будет прав? Обычный порядок расположения знаменитых „Мыслей" Паскаля принадлежит не автору, а первым издателям. Есть попытки расположить те же мысли в другом порядке. Кто будет прав? Научная истина—не абсолютная истина...

То обстоятельство, что народная философия выступила не в одеянии книжной философии, не мешает признать ее философией. Античная философия, как и некоторая часть немецкой или польской философии, тоже выступила в одеянии поэзии и не проиграла ничего из того, что делало бы ее именно философией. Дело в содержании и стремлениях, а не в одеянии, не в форме [15].

Если народ имеет философию, то, видимо, нет безусловных оснований для утверждения, что его педагогика—ряд не осмысленных, не продуманных механических приемов. Другой вопрос—*насколько в каждом отдельном случае осознана связь между мировоззрением и педагогической практикой, насколько педагогические приемы осознаны, как выводы из философских воззрений.* Но так же дело обстоит не только в народной философии и (поскольку педагогика есть прикладная философия [16]) народной педагогике.

Можно в известной мере устанавливать как общее правило, что „ни один ученый и ни один философ никогда полностью не сознает тех новых синтезов мысли, которые потенциально кроются в его утверждении. Смысл известного утверждения может быть смутным или ясным или вполне отчетливым, причем тут возможны (в зависимости от разных причин) бесконечные градации" [17].

Умения и понимание в деле педагогики могут быть достигнуты только огромным, хотя бы и эмпирическим, *знанием психологии*, таким, которого часто недостает педагогу, имеющему теоретическую подготовку.

Народные наблюдения в области психологии выступают в афористической литературе и других видах словесного творчества. Явления *наследственности* замечены, например, в пословицах и поговорках: Сколь волка ни корми..., Яблочко от яблоньки... и мн. др.; материалы для *характерологии* находим

там же: В тихом омуте..., Видно сокола по полету... и пр. Близки к народным афоризмам некоторые „приметы“. Не зная ни Мильтона, ни Шопенгауэра, деревенский мудрец судит в согласии с ними: „Хто чем в малых летах играет, тот тем и заниматца (сделавшись взрослым). Ета очень даже большая примета у нас“ [18].

В афоризмах народные мыслители выражают плоды своих долгих дум и выводы своей тонкой наблюдательности. Чтобы понять афоризм, надо его раскрыть и наполнить соответствующим его смыслу конкретным содержанием. Вот, для примера, народный афоризм: „утро вечера мудренее“. Рассматривая его, как формулу, которою пользуемся ради удобства и, может быть, ради выгоды времени, можно сделать подстановку: „утром, тотчас по пробуждении, проясняются без всякого напряжения вопросы, которые казались темными накануне вечером“ [19].

Многие виды словесного творчества заключают в себе материалы, соответствующие содержанию т. наз. *педагогической психологии*; в сказках, например, находим оценку значения смеха („Царевна Несмеяна“ и т. п.), силы любви („Аленький цветочек“ и др.) и мн. др. Сказка—прежде всего, конечно, художественное произведение; но и использование ее в качестве источника для познания народной жизни не является незакономерным. Во всяком случае оно не менее законно, чем привлечение произведений художественного творчества писателей в целях выяснения их мировоззрения, общественных взглядов и т. д. [20].

Сказки не могут не отражать народного мировоззрения; некоторые из них имеют прямое отношение к предмету нашего рассуждения, и каждая из них представляет свиток, который надлежит распрямить и прочитать [21].

Значения результатов донаучной психологии (поскольку они выразились именно в сказке) не отрицают и специалисты-психологи [22].

Самое исполнение сказок возможно только при понимании психологии. Об одном замечательном сказочнике у исследователя народной жизни говорится, что он „производил неотразимое впечатление на слушателей, психологию коих Чима (прозвище сказочника) изучил вполне“ [23]. То же справедливо будет сказать о няньках, особенно о многоопытных старушках, хранительницах и исполнительницах колыбельных песен, потешек, присказок, небылиц и т. д.

Только „изучив вполне“ психологию детства, психологию детских возрастов, можно было создать все средства „материнской школы“: колыбельные песни, потешки и т. д.

Подобного рода указания приводят к мысли, что народно-педагогическая практика в одних случаях явно, в других подспудно строится на психологических наблюдениях. Если можно наблюдать сколько угодно примеров неосознанного применения приемов у народных пестунов, то и в школьной педагогике встречаются подобные же явления. Здесь уместно напомнить знаменательные слова, которыми начал свои беседы с учителями известный американский психолог: „Вы глубоко, очень глубоко заблуждаетесь, если думаете, что из психологии, т. е. из науки о законах душевной жизни, можно непосредственно для школьного употребления вывести определенные программы, планы или методы преподавания. Психология—наука, а преподавание—искусство; науки же никогда не производят прямо из себя искусств. Для этого необходимо посредничество какого-нибудь изобретательного ума, который в силу своей оригинальности начинает применять на практике результаты, добытые наукой“ [24].

Некоторый разрыв или, если угодно, невязка, между психологией и педагогической практикой не порочит научной педагогики. Педагогика есть „не что иное, как осознание воспитания“ [25]. Распространим этот вывод—по тем же основаниям—и на народную педагогику. О том, что в интересующей нас области народной жизни мы имеем дело с „осознанием воспитания“, говорит наличие учительного элемента в используемых в народно-педагогической практике словесных произведениях (сказках и пр.), наличие в народно-педагогических взглядах и практике оценки влияний среды и, в частности, признание воспитательной ценности забавы [26].

Может быть, сущность педагогики заключается в определении, отыскании или получении возможностей использовать ту или иную среду, нужную для тех или иных педагогических целей. Еще до окончания материнской школы ребенок без всяких затруднений отпускается и даже направляется в новую, необходимую ему среду,—в общество сверстников. Народная педагогика благосклонно относится к детскому обществу с его времяпрепровождением, забавами, играми. Взрослые люди не всегда безучастны к детским играм; наоборот, они относятся к ним, по словам наблюдателя, „с привычным уважением“ [27]. Принцип детской самодеятельности в народной педагогике осуществлен едва ли не в максимальной мере.

Может быть, не случайно то обстоятельство, что крестьянские дети снабжаются минимальным количеством игрушек. Проще и, главное, привычнее всего это можно объяснить недосугом родителей, невниманием к детям и т. д. Но такое объяснение оставляет не освещенными наиболее интересные явления. Недосуг и невнимание—факты обыденные, отмечаемые в большей части крестьянских семейств. Но здесь речь идет не о рядовых кормильцах-поильцах, а о носителях и хранителях народно-педагогических идеалов, взглядов, опыта. Если мы этих педагогов и их взгляды мало знаем, это не дает нам права искать объяснения интересующих нас явлений в случайностях и совпадениях. Быть может, это не совпадение, что в практике народной педагогики выполняются или подтверждаются теоретические положения учения Платона, не одобрявшего обилия игрушек у детей[18], или Тагора, утверждающего, что „мир игры отравлен для того несчастного ребенка, который переобременен неограниченным количеством игрушек“[19]. Можно объяснить это явление также отсутствием серьезного взгляда на детские игрушки; но ведь пестуны учат делать куклу, запрягать „коня“ и т. п. Можно объяснить его неуменьем делать игрушки; но много ли надо уменья, чтобы смастерить самую занимательную игрушку—пляшущую куклу, подобие той, которую я видывал в притрактовых селах Иркутской губернии? Стоит только связать небольшой снопик соломы (чтобы можно было охватить крепким кольцом из среднего и большого пальцев детской руки), обрубить ровно концы, поставить на стол и заставить ее, ударяя кулаками по крышке стола, плясать... А игрушки, на которые такие мастерицы старушки-няньки, из коры, бересты, из прутьев,—они могли бы делаться быстро и в изобилии; однако этого мы не наблюдаем. Было бы недоразумением искать причин в отсутствии подходящего материала, годного на поделки игрушек: солома, прутья, береста и многое другое—все под руками. Пытаясь объяснить обсуждаемое явление недосугом взрослых, следует помнить, что хватает же вот времени на рассказы, сказки, песни, шутки, поучения, а на изготовление игрушек его тратят весьма экономно.

Я не располагаю большим материалом по обсуждаемому частному вопросу (не нахожу его и в литературе), но мне представляется не бесполезным привести несколько отрывков из показаний на этот счет моей неразлучной собеседницы[20].

„Сам может, дак я чо ему буду потакать: пушай сам делат... Я не была поташница: ну подучишь, не боле што, каку куклу там, коня ли... бабку запречь...“

„У кого много всего, тот балуется, ничего не хочет: хоть в ученье (вот у Семена ребяты), хоть в игре... да хоть и где...“

Помещенные выше заметки по разным поводам перечисляют только некоторые *источники изучения народной педагогики*. Необходимо сделать указания и на другие.

Воспитание ребенка в народной среде начинается до его физического рождения. В заботах о новых всходах жизни от беременной женщины требуется, чтобы она жила повышенной, против обычного уровня, нравственной жизнью, чтобы она каждый шаг делала осторожно: избегала неприятных встреч, бережно бы относилась к домашним животным и т. д. и т. д.[31].

Наставления и советы бабушек, дедушек, вообще умудренных опытом людей, которые даются молодым матерям, наказы и указания своим и наемным нянькам, связанные с конкретными случаями, отражают идеалы, убеждения, взгляды, образ мыслей людей старшего поколения, выделяющего из своей среды „педагогов“.

Весьма ценным источником для изучения народной педагогики надо считать наследуемый из века в век и, кажется, очень медленно и осторожно пополняющийся неписаный Vademecum народной педагогики, содержащий мысли и наставления, касающиеся воспитания и обучения.

Где гроза, тут и милость.

Отец али мать дитю люби, а не оказывай.

Покáль он поперек лавки лежит, учи его. А как ляжет вдоль лавки, тожно уж не научишь[32].

В подобных произведениях не всегда точно и не совершенно, но с большой силой и глубиной выражен народный опыт в деле воспитания.

Самым богатым источником, который может раскрыть идеи, способы и средства народной педагогики, является особый вид словесных произведений, вызванных к жизни едва ли не исключительно педагогическими надобностями; это о с о б ы й отдел фольклора, *устная литература для детей*, поэзия пестования, в своей совокупности составляющая своеобразную неписаную хрестоматию для детей разных возрастов: раньше всего—колыбельные песни; затем, по мере подрастания ребенка, следуют потешки, „приговорки“, забавы, небылицы, сказочки, загадки и т. д. и т. д.[33].

Естественно ожидать, что именно здесь, где все предназначено для ребенка, будет проявлена и чуткость и понимание психики ребенка, его физических и всех иных разнообразных нужд и потребностей. Следует вспомнить народный взгляд на деторождение и на многочадие[34], чтобы не был неожиданным взгляд на детей, как на сокровища высшего порядка („не отдам тебя ни за золото, ни за серебро"), вокруг которых вырастают и плоды ума—наблюдения и опыт, и цветы сердца—поэтическое творчество: ubi enim est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum.

Колыбельные песни не оставлены без внимания исследователями. О них можно речь вести не только, как о произведениях народного словесного искусства (это особая задача), но и как о материале, используемом в педагогическом деле. Попытки оценить их с этих двух точек зрения в литературе имеются; впрочем, с интересующей нас в данный момент второй точки зрения колыбельные песни изучались мало[35].

Во втором периоде „колыбельной жизни" ребенка эти песни имеют также большое применение, но тогда они—в моменты бодрствования ребенка—перемежаются с потешками, т. е. небольшими стихотворными произведениями, исполнение которых имеет целью возбуждение или поддержание у ребенка радостных эмоций. Потешки можно делить на *потешки-приговорки* и *потешки-песенки*. Первые применяются, когда ребенок в колыбели („зыбке"), проснувшись, потягивается; его гладят по животу, по ногам, по бокам, по рукам, приговаривая в такт движениям рук:

Потягунушки, порастунушки,
в ножки ходунушки... и т. д.

Сюда надо отнести заговоры-шутки, употребляемые в целях успокоения ребенка, выведенного из благодушного настроения ушибом или другим незначительным обстоятельством:

У сороки боли,
у вороны боли,
у Фенички заживи...

Текстов потешек-приговорок много. Еще больше текстов потешек-песенок, исполняемых при несколько других условиях. Бодрствующего ребенка нянька усаживает на ладонь левой руки, на правую руку опирает грудку ребенка, „скакает" его и напевает всем известные „ладушки" или другие миниатюрные прототипы плясовых песен:

Уж так была высока на ногах,
накопила много кàки на боках...[36]

Тексты потешек пользовались вниманием собирателей, но способы и условия их применения, характер выполнения и т. д. оставались и остаются незамеченными; это обстоятельство затрудняет исследование указываемого ряда народно-педагогических приемов с интересующей нас сейчас точки зрения.

Следуя устным уставам народной педагогики, *обучение*— и показом и сказом—начинается раньше, чем принято думать. Уже в то время, когда ребенок начнет совершать самостоятельные экскурсии в окрестности своей избы, ему даются первые у р о к и с ч и с л е н и я. Возвратившись с экскурсии, он занимает место на коленях у матери или старушки-няньки, а та „учит считать“ по пальцам. Берет, скажем, левую руку ребенка и и говорит *(сначала медленно):*

этот *(берет мизинец)*
палец *(безымянный)*
с этим *(опять мизинец)*
пальцем *(опять безымянный)*

(вдруг быстро и громче):

два пальца! *(зажимает вместе мизинец и безымянный).*

Так же делают с парой пальцев средним и указательным.

На той же руке или на другой идет продолжение упражнения *(тоже медленно):*

три *(берет только мизинец)*
пальца *(прибавляет безымянный)*
четыре *(средний)*
пальца *(указательный)*

(вдруг быстро и громче):

пять пальцев! *(охватывает все пальцы)* [37].

Немного позднее применяются иные способы обучения счету, на которых нет возможности сейчас останавливаться [38].

Своеобразное введение в зоологию и зоопсихологию предлагается детям тоже в самом раннем возрасте—через использование *посказулек* с звукоподражанием, в которых обыкновенно говорится о знакомых детям животных. По поводу ли шума в курятнике или по другому подходящему случаю ребенку рассказывают, например:

— Слышишь, курицы осердились на хозяина? Верно, худо кормит... Осердились и кричат (слышишь?): „хозяина запродать! хозяина запродать!“ Утка говорит: „та-ак, та-ак“... Индюшка тихонечко: „как ха-ти-ти“... А гусь: „по-огадя маленька!“.. Ишь, ему жалко хозяина продавать [39].

Произведения этого рода не весьма многочисленны, но являются распространенными в народе; в этнографической литературе есть небольшие собрания их, но как они используются пестуньями, об этом сведений не находим.

Народная педагогика знает специальные сказки для маленьких детей („сказки маленьким"); обыкновенно это стихотворные произведения микроскопического объема, часто—забавного содержания. Аудитория редко бывает многолюдной; обыкновенно она умещается у ног или на коленях матери или няньки. Вот одна из любимейших сказок:

Аленушка-сестричка,
идем в баньку!
Банька то̀плена,
веник пареный,
шшолок ва̀реный.
— Я нейду, нейду, нейду,
я не здумала пойти:
привязал меня Иван
ко березовой дуге;
волки воют на горе,
съись меня хотят,
под гору сташшить—
кишки выволокчи[10].

Подобных сказок в устной народной хрестоматии не мало. Приведенный образец интересен в том отношении, что даже на нем одном выступают все основные особенности „сказок маленьким": близкий и количественно ограниченный круг действующих лиц, простота фабулы, примитивность построения, незамысловатость словаря, четкость синтаксиса и проч.

К таким сказкам примыкают по характеру и условиям выполнения т. наз. небылицы и некоторые другие виды словесных произведений, предназначаемых для развлечения и—иногда—попутного научения детей.

„Настоящие сказки" входят в употребление позднее, когда ребята заканчивают „материнскую школу", когда они обнаруживают стремление проводить время не столько дома, сколько в обществе сверстников.

Исследователи русского фольклора остановили внимание на том обстоятельстве, что „в большинстве существующих фольклорных сборников, к сожалению, не указывается, какие из напечатанных произведений народной поэзии предназначены в деревне специально для детей, какие исполняются только

для взрослых, какие носят безразличный характер в отношении к возрастным группам населения“ [41].

По своим личным наблюдениям (в этой области их у меня немного) сужу, что умелые сказочники, приноравливаясь к детской аудитории, отбирают постепенно подходящий, на их взгляд, материал из своих запасов, создавая изборник сказок, пригодных для детей. Мужчин, обслуживающих детскую аудиторию, т. е. рассказывающих специально для детей (в смешанной аудитории имеют в виду взрослых), я встречал, как редкое явление; среди старых женщин их не так мало. Известные мне старики и старушки в своем репертуаре имеют очень немного сказок, которые они предназначают для детской аудитории. „Сказывашь, штобы чо лишна [непристойное слово, неприличную подробность и т. п.] не сказать... А так чо: хошь и долгу [длинную] сказку — панимат, ни панимат каторый— слушат“.

Три года назад на Всероссийской Конференции научных обществ и учреждений с чувством удовлетворения отмечалось: „Широкое использование фольклора в педагогических целях постепенно входит в нашу школу всех ее ступеней. Педагоги, особенно провинциальной школы, начинают проникаться убеждением, что обучение родному языку и словесности должно строиться на наблюдениях над живым языком народным и над художественными произведениями этого языка. Прохождение... курса народной словесности постепенно начинает производиться не с монопольной помощью книги, а путем ознакомления с крестьянской поэзией в ее естественной живой обстановке, непосредственно из уст самих народных мастеров художественного слова“ [42].

Все это не только „начинает проникать“, но давно, уже целые века, составляет существенную часть народной педагогики. О более „широком использовании фольклора в педагогических целях“, чем здесь, трудно и думать. Здесь не обойден даже самый ранний детский возраст. Обучение родному языку самых маленьких, едва лепечущих, детей ведется по „художественным произведениям этого языка“.

— Ну, Маня, говори:

Скок-поскóк...

Ребенок, как умеет, „балáкает“ за взрослым; нянька продолжает:

На чужой мосток...

И ребенок за нею лепечет—слово за словом:

свой смашшў
никаво ни пушшу,
саломки пастилю,
сама сяду пасижу...

Или заплетает мать первую косу маленькой дочурке, приговаривает, а та за нею:

Ты расти, моя ко́са,
расти їіз корню,
приезжай ко мне, жених,
їіз городу...
Он посватался
да спрятался,
записку написал
да под печку убежал...[43].

„Сабиремся па ягады, вазьмем карзины, туиски, мишышки... Кавда фсе готовы, ана[44] и прискажет нам:

Нагрибли мишок в паходы,
делай лямки па пличам.
Фсю дарогу, слава богу,
шол с вадой па зимовьям
ни (на?) прикрасная гулянья,
ни (на?) атрезанай атвал...

Прискажыт—и пайдем. Дарогай то же присказывам".

Крестьянская поэзия преподносится (если угодно—преподается) здесь в более „естественной живой обстановке", чем в школе: здесь—без малейшего отрыва от внешней повседневности. Хорошие певцы охотно, вспоминая детство, говорят о тех, кто „внушал" им песни. „Сядем прясь.... Многа нас, девчонак... Ана и учит", — рассказывает моя собеседница из Шабарты[45] об одной женщине. „Прапает сколька [несколько, т. е. часть], патом мы за ей. Катора ни ладна [поет], — падладит"...

Следовало бы сказать также, не будь недостатка в месте, о способах использования в народно-педагогическом деле загадок, скороговорок и т. п. коротких произведений словесного творчества.

Усвоение художественных произведений происходит „непосредственно из уст самих мастеров художественного слова". В школе всякий учитель может вести „час рассказа", потому

что у учеников нет выбора, потому что учитель, как рассказчик, „вне конкуренции"; не то в народно-педагогическом деле: там только художник-рассказчик пользуется успехом, только к нему ребята бегут; кто лишен такого дара, не возьмется за это дело: к нему никто не побежит.

Знаменитый „час рассказа", введение которого в педагогическую практику обычно связывается с достижениями американской школы последних десятилетий, в действительности не является новинкой в истории педагогических идей и их осуществлений—ни в области преподавания, ни в области развлечения. Рассказывание — старый метод, прекрасно разработанный и непрерывно используемый до наших дней в народной педагогике и совсем недавно перенесенный в педагогику научную.

Цели рассказывания определили выбор *материала*, предлагаемого слушателям. „В течении многих веков рассказывание было одним из главных методов для передачи знаний юным поколениям и в то же время оно было излюбленным развлечением. Оно применялось для многих целей: чтобы преподавать религиозные истины, чтобы насаждать нравственность, чтобы знакомить с законами и обычаями" [6]. В народной педагогической практике наших дней цели ставятся все те же: и научение и развлечение. Детям рассказываются легенды, предания, более всего—сказки.

Форма применения указываемого сейчас народно-педагогического приема отразилась на *составе, расположении частей и строе* рассказываемых произведений. Едва ли возможно определенно сказать, в какой степени они подсказаны художественным чутьем исполнителей и в какой мере — их педагогическим тактом. Видимо, то и другое, действуя или во взаимном переплетении или параллельно, создали присказку. заставку, повторения, концовку и другие элементы хорошо построенных сказок. Все эти начинные, вводные, заключительные части у мастера имеют свое назначение, несут свою функцию: незаметно вывести слушателей из реальной повседневной обстановки и привычной среды, незаметно ввести в мир сказки, в нужный момент создать настроение, усилить впечатление, заворожить, увлечь, затем, перейдя грань наивысшего подъема, постепенно приблизить к обычному житью-бытью, вернуть слушателей в их будничную среду и обстановку.

В имеющихся у меня записях материалов мне трудно было-бы найти более ясную иллюстрацию к тому, что я говорю о „часе рассказа" в народно-педагогической практике, чем

пример из наблюдений 1919 г. в деревне Пьяновой, Братской волости (на Ангаре). К моему огорчению, на этот раз я вынужден воспользоваться только отрывками своих записей.

Это было в день Кирика и Улиты. Деревня праздновала. Царь Данила [47] никуда не собирается. Он в надевашке сидит на кровати под полатями. Это статный, хорошо сохранившийся высокий старик лет 60. Смазанные маслом, причесанные, от густой проседи серо-стальные волосы придают его голове такой вид, будто вся она отлита из стали. Открытые серые глаза, почти правильный нос. Подстриженная рыжеватая борода—тоже с проседью, жидковатые усы.

Он не один. Сколько могла вместить многоспальная деревенская кровать, столько она и вместила ребятишек—парнишек, девченок, молча окруживших с трех сторон на вид не очень приветливого и очень не словоохотливого старика. Все головы — стриженые и нестриженые, с косоплетками и косматые — обращены в сторону старика; видно, ждут чего-то, а молчат; некоторые конфузливо жмутся к нему. А ему словно и дела до них нет... На скамейках, на табуретках, у порога „примостились“ девушки и парни. С ними старик перебрасывается словом...

— Вы чо жметесь-то ко мне? Чо вам надо-то?

Смутились ребята, опустили головы и что-то шепчут. Старик не слышит.

— Бегите домой: мать хватится, ругать будет...

Конфузливо улыбаются и молчат. Видно, что не принимают всерьез слова старика.

— Да ты бы имя, дедушка, сказку сказал,—подсказала девушка.

— Каку сказку? Никакой сказки не знаю...

— Знаешь,—прошипел чей-то голос на кровати. Оглядел всех царь Данила, улыбнулся—и все повеселели... А он снова молчит...

Не может „придумать“ старик сказку и начинает говорить ни с того ни с сего о какой-то козе...

И повел... Говорит он, когда разойдется, быстро-быстро. Язык у него на удивленье выразительный, и рисует он мазками, наскоро.

— И ладная коза была бы, да... поперечинка тут такая вышла...

...На зеленях травки похватала и дальше. Только спину показыват... А его дело—по паханой-то земле куды ускачишь... хошь плачь!

Ребячьи глаза обступили его, уставились на него...

— И где уж эту козу нашли, не знаю. Ты, Ванька, не знаешь?..

Мальчуган не сразу очнулся. Потом засмеялся, и все тихо, довольные, захихикали.

— Ну, больше не знаю.

Подобные сборища у него—явление обычное, особенно в праздничные дни (в них царь Данила не работает), а в рабочее время — в ненастье. „Малым-то ребятам сколь одно ни рассказывай, все будут слушать“,—замечает сказочник. Парни и девушки, которые в детстве достаточно наслушались его сказок и рассказов, ими „затверженных от малых лет, но никогда не скучных“, пользуются малейшей возможностью, чтобы послушать их в 1001 раз.

Не всякую его сказку можно передать, потому что не заметишь, где она началась; своим началом она где-то вплелась в разговор, а когда уловишь и поймешь его речь, как сказку, сказка уж далеко от начала. Да хоть и известную сказку начнет старик, начнет ее с предисловия, с присказки, мешкотно—словно дельная баба веретено устанавливает.

Уставила. Зашуршало, закрутилось. Вытянулась, побежала нить — сначала прямая и четко видимая, потом закрутилась, забегала кругом стерженька, неизвестно из чего, откуда выросшего, потеряла четкость в очертаниях... А глаз ловит ее, гоняясь за нею. Зацепила, притянула нитка глаза — нельзя оторваться! И бежит уж не одна, бежит, неразличимо переплетаясь, много ниток — солнечных и лунных *), золотых и серебряных **), шерстяных и портяных ***). Тянутся нитки, обматывают, заволакивают сознание. Наматывается клубок, толстеет, кружится перед глазами. Веретено шуршит и жужжит—ткется словесная ткань сказки...

Ребятишки — „бытта померли“. Девки „серу перестали жувать“ [48].

---

*) „Вот солнышко уж на вчерашнем месте, пекёт: ить петровки!“..

**) „А одёжа—одно слово: серебро да золото“.

***) „У его, бедняги, кака одежа? одна одежа—стара рогожа, друга-куль праздничный... Может, шабуришка какой“...

Веретено шуршит и жужжит. Но... какие-то изменения в мотке. Нитки бегут, но в каком направлении, — не уловишь, глаз не различает. Нитки бегут, но уж не наматываются, а сматываются; моток словно тает...

На ребячьих лицах улыбка, губы подбираются.

„А там уж чо?.. Пир пирком—и свадьбишка". Последняя нитка смоталась...

Здесь возможно ожидать указаний на недочет народной педагогики, допускающей к употреблению в детской аудитории и „страшную" сказку. В педагогической литературе не раз высказывалось мнение, что использование сказочного материала должно быть осмотрительным, сказки должны проходить через некоторую педагогическую цензуру, чтобы „страшная" сказка, могущая болезненно отразиться на ребятах, не проникла в детскую аудиторию.

Едва ли это мнение выходит за пределы педагогического сантиментализма. Ведь это—априорное построение, которое фактическим материалом никем не подтверждено.

Полезно было бы для обоснованного решения вопроса иметь показания тех, кто на себе испытал влияние приемов народной педагогики и, в частности, влияние сказок. Ни Пушкин, ни Толстой[50], ни Соловьев[51], ни Кони[52], ни Бунин[53], ни Горький в своем „Детстве",—никто из оставивших замечания на этот счет не говорит в подтверждение высказываемых опасений. Конечно, этим вопрос не разрешается и не снимается с обсуждения, но обвинение сказки, как народно-педагогического средства, во вредном влиянии на детскую психику в той или иной мере ослабляется.

Лучшие педагоги в народной среде—люди старого поколения, поколения людей, уже перебродивших, успокоившихся, уже не имеющих личных интересов, в нравственном отношении живущих выше обыкновенного уровня. Обыкновенно это—бабушки, свои или чужие. „*Бабушка*—победоносное слово. Для внучек нет теплее места, как у бабушек",—говорится в одной прекрасной учительной книге. „У стариц—мудрость, опытами и трудами жизни приобретенная. И они часто невзначай, в простых фразах, высказывают такие мудрые уроки, которых и в книгах поискать,—не найдешь"...

Достойно замечания отношение людей большого ума и глубокой культуры к крестьянкам-нянькам. Отношения Пуш-

кина к Арине Родионовне общеизвестны; это, так сказать, классический пример.

Вот несколько других. „Я уверен,—пишет А. Ф. Кони[32], —что за границей почти невозможны такие типы, как вымирающий ныне у нас тип старой няни, органически слившейся с семьею, где были ее питомцы... Моя первая няня была донская казачка Василиса или Васса - высокая статная красавица... У меня остались в памяти ее сказки и страшные рассказы об оборотнях, в существование которых она искренно верила".

„Няню Татьяну Филипповну я помню потому,—читаем в биографии Льва Толстого[33],—что она потом была няней моих племянниц и моего старшего сына. Это было одно из тех трогательных существ из народа, которые так сживаются с семьями своих питомцев, что все свои интересы переносят в них".

Нельзя не назвать историка Соловьева, посвятившего первые страницы своих „Записок" рассказу о своей няне. „Самыми близкими и любимыми существами для меня в раннем детстве были—старая бабушка и нянька. Последняя, думаю, имела немалое влияние на образование моего характера. Эта женщина, сколько я помню сам и как мне рассказывали другие, обладала прекрасным, чистым характером: она была сильно набожна, но эта набожность не придавала ее характеру ничего сурового; она сохраняла постоянно общительность, веселость, желание занять, повеселить других, больших и малых... Если я родился со склонностью к занятиям историческим и географическим, то постоянные рассказы старой няни о хождениях, о любопытных дальних местах, о любопытных приключениях не могли не развить врожденной в ребенке склонности"[34].

Говоря о „довольно сильном" нравственном и „умственном влиянии" старушки-пестуньи, историк сожалеет: „После я не встречал подобной няньки и не мог найти для своих детей няньки, хотя сколько-нибудь похожей на мою Марьюшку"[35].

Такие пестуны, конечно, очень редки; это—*мастера* в благороднейшем значении слова; в них—высшие проявления педагогического дарования и предельные достижения народной педагогики. Если историю научной педагогики изучают по высшим достижениям, воплощаемым в творениях Платона, Амоса Коменского, Песталоцци, Руссо и пр., а не по работе рядовых тружеников,—будет справедливо, т. е. методологически правильно, и народную педагогику изучать не по приемам и сказу любой встречной няньки, а тоже по высшим достиже-

ниям выдающихся педагогов. Так, ведь, и происходит в этнографических изучениях других проявлений народной жизни: и сказку, и песню, и обряд мы изучаем на „лучших образцах".

В изучении народной педагогики приходится констатировать большую отсталость. О певцах, сказочниках, знахарях, лекарях и пр. мы имеем—пусть не богатые количественно, но значительные качественно материалы: биографии, характеристики, портреты, в редких случаях—даже иконографию (М. Д. Кривополенова), сведения о репертуаре и т. д. и т. д. Много ли собрано материалов о народных педагогах? —Крайне мало, и то—из вторых рук: Родионовна, Марья-нянька, Васса (или Василиса) Ивановна, Татьяна Филипповна... Можно прибавить еще несколько упоминаний—о няньке Бессонова, о няньке Рыбникова и некоторых других, но это большею частью—упоминания, о ценности которых для наших целей судить пока невозможно. А вот книжечки, подобной брошюре Б. М. Соколова—„Сказители"[57], куда бы вошли сведения о замечательных педагогах, этнографы не имеют; даже материалы для такого рода сборничка не подобраны и, кажется, не подбираются. О той же М. Д. Кривополеновой за последние годы, можно сказать, выросла литература. О ней говорят как об артистке, певице, сказочнице. Это понятно. О ней же попутно, случайно упомянуто: „в чужом доме жила, *с детьми водилась*"[58]. Исключительное по силе дарование, терпеливый, кроткий характер[59], тонкое знание людей[60]—могли ли остаться под спудом у мудрого человека? Трудно представить себе их не „на свёщнице", не на службе при пестовании своих и чужих детей, но об этом—ни слова... Есть упоминание и об „учителе" Кривополеновой: „Столетний дед Кобалин с детьми водился"[61]. Из его „школы" вышла знаменитая сказительница, а о нем—только упоминание, не больше...

Теперь едва ли возможно определенно говорить, что может сулить изучение народной педагогики в философском (теоретическом) и практическом отношении. Но некоторые суждения позволительно считать не подлежащими оспариванию.

Если на школьное воспитание, которым пользуется сравнительно небольшое число детского населения страны, надо смотреть, как на „фундамент культуры народа" (Наторп), то, конечно, с неменьшими основаниями такою же мерою нужно мерять народную педагогику, воздействию которой подвер-

гается подавляющее большинство детей в стране. Как бы к народной педагогике ни относиться, все равно—педагога не может не занимать вопрос о „дошкольной подготовке", т. е. о семейном воспитании детей, приходящих в школу. Работа школы—продолжение работы семьи (и дополнение к ней) и потому должна в тех или иных отношениях, в той или иной степени исходить из того, что дало семейное воспитание. Применительно к массе русского населения вести речь о семейном воспитании, или о „дошкольной подготовке", значит говорить о народной педагогике.

Наряду с вопросом, как „увязать" школьную работу с дошкольной, перед педагогом стоит другой вопрос: надо ли и можно ли вести дальше начатое в семье дело в том же направлении или необходимо не только дополнить недостающее, но и исправить ошибки. Чтобы удовлетворительно разрешить эти вопросы, к народной педагогике надо подойти близко, уяснить ее идеи, задачи, пути и средства, иначе невозможно оценивать слагающие ее элементы.

ПРИМЕЧАНИЯ.

[1]) Несколько ранее вышла работа Элиашевича—О первых приемах физического воспитания детей у разных народностей, населяющих Иркутскую губернию. Иркутск, 1879.

[2]) Балов—Рождение и воспитание детей в Пошехонском уезде, Ярославской губернии. *Этногр. Обзор.* 1890, № 3; Буниатов—Домашнее воспитание у армян Эриванской губернии. Там же, 1894, № 4; Сенигов—Народное воззрение на учение и воспитание. Спб., 1896; Косогоров—Русское народное воспитание. *Живая Старина*, 1906, IV; Чарушин—Уход и воспитание детей у народа. *Известия Архангельского Общ. изуч. Русского Севера*, 1914, № 18.

[3]) В. Чернышев—Русское народное воспитание. Несколько указаний и вопросов для собирания материалов о нем. *Жив. Ст.* 1906, IV; О. П. Семенова-Тяншанская включила несколько вопросов, касающихся народной педагогики, в „Программу сообщения сведений о быте крестьян", помещенную в очерках „Жизнь Ивана". *Записки Русск. Геогр. Общ. по отд. этногр.*, т. XXXIX, 1914.

[4]) А. И. Дзенс-Литовский и И. С. Абрамов—Познание местного края. Л., 1925; стр. 72; „Первые шаги краеведа", сб. ст. Иваново-Вознесенск, 1926; стр. 90.

[5]) Этнографический Отдел Русского Музея. Пгр. 1923; стр. 24. Попутно укажу на Библиогр. указатель Д. К. Зеленина, Спб. 1914, стр. 307 и сл.

[6]) П. Монро—История педагогики. М. 1911, т. I, гл. 1; Ш. Летурно—Эволюция воспитания у разных человеческих рас. Спб. 1900, и др.

[7]) С. Глаголев—Религиозная философия у негров Бавили. *Б. В.* 1908, I, стр. 147.

[8]) История народной педагогики—в том виде, как ее можно проследить по устным источникам, упирается в ссылки на „стариков", являющихся едва-ли не единственным авторитетом в глазах народа и его пестунов: „так старики делали", „так старики учили", „так старики велели" и т. д. Остается не показанным, почему опыт и практику стариков должно признать оправданными или не нуждающимися в оправдании. Это не то значит, что оправданий нет, а то, что непривычные к теоретизированию простолюдины не видят надобности доказывать общеизвестное, общепринятое; ссылка на авторитет имеет в таких случаях смысл формальный, как „сокращенное обозначение продолжаемости объяснительного процесса", подобно сокращениям современного языка: „и т. д.", „и т. п.", „и проч.".

[9]) В. Джемс—Беседы с учителями о психологии. М. 1910; стр. 8.

[10]) Из старых авторов ср., напр.: А. С. Хомяков—Полн. собр. соч. М. 1900; стр. 289.

[11]) С. И. Гессен—Основы педагогики. Берлин, 1923; стр. 8.

[12]) В начале прошлого десятилетия, приняв участие в составлении „Всеобщей истории философии", отдельные части которой написаны разными специалистами (в коллекции Die Kultur der Gegenwart, ihre Entwickelung und ihre Ziele) Вундт написал статью о начатках философии у т. наз. первобытных народов, представляющую собою краткое извлечение из его большой Völkerpsychologie.

[13]) О крестьянине-философе Т. Бондареве см. ст. Льва Толстого в Венгеровском Словаре. О В. Сютаеве литература указана в *Ежемесячном Журнале* 1916, № 4, стр. 204—206. См. также: Тимофей Заяц—Записки. С предисловием А. К. Чертковой. *Голос Минувшего* 1913, №№ 8—12; Т. Бондарев—Спасение от тяжкой нищеты. *Ежем. Журн.* 1914, № 5.

[14]) О „философском фольклоре" см.: И. И. Лапшин—Философия изобретения и изобретение в философии, т. II, изд. 1922 г., стр. 5—7.

[15]) В образной форме эта мысль выражена у Ф. Ф. Зелинского: Из истории идей. Спб. 1916; т. I, стр. 434.

[16]) Ср.: Наторп—Философия, как основа педагогики (перев. под ред. Шпета); Гессен—назв. сочинение.

[17]) Лапшин—назв. соч., стр. 208.

[18]) Слова Гавр. Григ. Нефедьева (д. Хобок—в Тункинском крае). Из записей М. К. Азадовского.

[19]) Ср.: Лапшин—назв. соч., т. I, стр. 120—121.

[20]) Имею в виду, наприм., „Гольфстрем" Гершензона, где художественное творчество Пушкина рассматривается, как „точка в потоке мысли", начатом Гераклитом, „Мудрость Пушкина", статью Франка о Тютчеве (*Русская Мысль* 1913, XI), статью Бирюкова—Художественные произведения Толстого, как отражение его мировоззрения (*Север. Зап.* 1913, VIII) и т. п. сочинения.

[21]) Вл. Соловьев—Тайна прогресса. Полн. собр. соч. Спб. 1903 т. VIII; Е. Соловьева—Философия в сказке. Сборн. ст. „Художественное рассказывание детям", под ред. Н. Е. Румянцева, Пгр. 1919; Е. Трубецкой—„Иное царство" и его искатели в русской народной сказке. М. 1922.

[22]) В. Ерузалем—Введение в философию, изд. „Моск. Книгоизд." стр. 215.

[23]) *Живая Старина* 1912, II—IV, стр. 354.

[24]) Джемс—назв. соч., стр. 8.

[25]) Гессен—назв. соч., стр. 21.—В утверждениях, что педагогика есть осознание воспитания и что преподавание—искусство, нельзя видеть непримиримое противоречие: в попытках специалистов создать систему педагогики отстаивается точка зрения, которую „можно было бы обозначить, как попытку синтеза разума и интуиции..., рационализма и иррационализма" (Гессен, стр. 9).

[26]) Что педагогика т. наз. „некультурных", или „первобытных" народов „несомненно, до некоторой степени признает воспитательную ценность забавы", не отказываются признать и педагоги-теоретики, которых невозможно подозревать в идеализации народа и в непомерно высокой оценке народного опыта и народной мысли. Ср. Г. Джонсон—Игры и забавы в воспитании. М. 1922; стр. 31.

[27]) С.К. Кулжинский—Игра в лодыжки. *Этн. Об.* 1900, № 1, стр. 141

[28]) М. М. Рубинштейн—Платон-учитель. Иркутск, 1920.

[29]) Р. Тагор—Воспоминания. Гос. изд. 1924; стр. 33.

[30]) Е. А. В—ва; см. о ней *Жив. Ст.* 1915, IV, стр. 326.

[31]) Бунято в—назв. соч., стр. 163 и сл.; Виноградов—Самоврачевание etc. *Жив. Ст.* 1915, IV, стр. 356, и др.

[32]) Эти примеры—из записей, сделанных в разное время в Тулунском уезде Иркутской губернии.

[33]) Обычно эту группу словесных произведений относят к детскому фольклору. К такому отнесению мало оснований. Детский фольклор составляют произведения, которых не включает репертуар взрослых; это совокупность произведений, исполнителями и слушателями которых являются сами дети. Рассматриваемая же группа, как *творчество взрослых для детей* и составляющая репертуар, гл. обр., взрослых, должна быть обособлена: это—*создание женщины-матери и пестуньи*, это—материнская поэзия, или поэзия пестования. Оттого, что их исполняют и дети, произведения этой группы не делаются детским фольклором, подобно тому, как исполнение детьми солдатских песен не дает права на включение солдатской песни в детский фольклор, пока эти песни не выпадут из фольклора взрослых и не станут достоянием только детей. Что касается вводимых здесь обозначений („материнская поэзия", „поэзия пестования"), то их нельзя считать вполне удачными, но они более удачны, чем отнесение к детскому фольклору произведений недетского словесного творчества.

Мало того, что отнесение этого вида словесного творчества к детскому фольклору *неправильно*, оно затемняет очень важную черту поэзии пестования: трудно указать другой вид словесных произведений, где бы женская стихия в поэтическом творчестве проявилась наиболее беспримесно.

[34]) Виноградов—назв. соч., стр. 376—377.

[35]) Интересна по мысли и некоторым замечаниям статья Г. Добрякова—О колыбельных песнях. *Вестник Воспитания* 1914, № 8; указана небольшая литература.

[36]) „Кака"—испражнение (из словаря, употребляемого взрослыми в разговоре с малыми детьми); пример—из записей в Тулунск. уезде.

[37]) Есть варианты этого и другие способы „счета". Помещенные здесь записаны О. М. Блюменфельд в Усть-Куде (недалеко от Иркутска) весною 1926 г.

[38]) Один из них приводится в моем „Детском народном календаре". *Сиб. Жив. Стар.*, II, 1924, стр. 67.

[39]) Это—один из вариантов; записан в Тулунском уезде.

[40]) От старушки из Томской губернии записала О. М. Блюменфельд.

[41]) Б. и Ю. Соколовы—Поэзия деревни. М. 1926; стр. 137.

[42]) Тезисы доклада Ю. М. Соколова. Дневник Всеросс. Конф. научных обществ и учреждений 1921, № 4, стр. 56.

[43]) Оба примера—из Шабарты Тулунск. уезда.

[44]) Шабартинская старушка, умершая более 50 лет назад, Софья Гавриловна Яринова.

[45]) См. примеч. 30-е.

[46]) Э. и Дж. Партридж—Как и что рассказывать детям в школе и дома. М. 1914; стр. 11—12.

[47]) Крестьянин Данила Гаврилыч Метляев свое прозвище получил за свою осанку (он—самый видный мужчина в деревне), за свой ум и характер. Он очень памятлив, наредкость рассудителен; слывет справедливым человеком, пользуется авторитетом не только в Пьяновой, но и во всей Братской волости. Для неграмотной деревни он, тоже совершенно неграмотный, служит и календарем-справочником, и судьей, и советником. К нему обращаются за справками о праздниках и постах, об очередях и сроках отбывания какой-либо общественной повинности; к нему обращаются супруги, которых „мир не берет"; он мирит, счуняет (уговаривает) их; однодеревенцы покосы делят —поссорятся,—к нему идут: „раз што он справедливый"... Умер в 1920 или 1921 году.

[48]) Из дневника 1919 г.

[49]) Л. Н. Толстой—Полн. собр. соч., изд. Сытина, I, стр. 341—342.

[50]) Записки Сергея Михайловича Соловьева. Изд. „Прометей", стр. 5—8.

[51]) На жизненном пути, т. II, М. 1916; стр. 364—365.

[52]) И. А. Бунин—Полн. собр. соч., Пгр. 1915; т. VI, стр. 323.

[53]) См. примеч. 51-е.

[54]) П. Бирюков—Л. Н. Толстой. Биография, т. I. М. 1906; стр. 81.

[55]) Записки С. М. Соловьева, стр. 5—6.

[56]) Там же, стр. 8.

[57]) Борис Соколов—Сказители. М. 1924.

[58]) О. Э. Озаровская—Бабушкины старины. М., изд. 2; стр. 14.

[59]) Там же, стр. 93.

[60]) „Разгадала фронтовую психику". Там же, стр. 14.

[61]) Там же, стр. 6.

А. Попова.

Песни партизан.

(Семейские [1] селения Верхнеудинского уезда).

Народное движение, известное под именем „Партизанщины“, в настоящее время начинает все более и более привлекать к себе внимание исследователей народной жизни, в частности этнографов. В печати появляются статьи, посвященные изучению партизанского движения, при чем эти изучения касаются не только политической стороны движения, но и чисто бытовой. Центрархив опубликовал работу А. Н. Турунова „Партизанское движение Сибири“ в которой на ряду с приказами, донесениями, телеграммами, чисто историческим материалом документального характера, напечатано стихотворение партизанского поэта [2]. На страницах „Сибирских Огней“ А. Саянский посвятил целый этюд поэтам партизанского фронта, деятелям газеты „Соха и Молот“ [3]. Е. Колосов в своей работе касается даже философии партизанского движения [4]. Наконец, в программном руководстве „Беседы собирателя“ М. К. Азадовский обращает внимание на необходимость собирания образцов партизанской народной поэзии: частушек, военных песен, переделок романсов и пр.; в работе он приводит и несколько текстов [5].

Все опубликованные материалы по партизанскому движению в Сибири касаются, главным образом, Минусинских и Ачинских партизан, кое что известно о партизанском движении на Амуре, что же касается Забайкальского партизанского движения, то оно почти еще совершенно не затронуто изучением, если не считать работы А. Адгокова, в которой он на ряду со статистическими данными убытков и потерь в гражданскую войну, по Селенгинскому аймаку, дает краткий очерк движения в этом краю [6].

Таким образом перед исследователями народного быта встает важная очередная задача: собрать и записать документы, частушки, сказки и т. п. материалы относящиеся к периоду гражданской войны. Настоящие строки являются извлечением из материалов, собранных мною во время поездок в В.-Удинский уезд Бурят-Монгольской республики для изучения быта семейских. За две поездки мною посещены Куйтун, Куналей, Десятниково

и Тарбагатай (по местному Тарбатай), бывшее центром партизанского движения этого края—Революцион. Штаб С.-Зап. фронта [7].

В этих селах записан весь ниже приведенный материал.

Партизанское движение, имевшее в корне недовольство существующим порядком, охватившее Сибирь. не могло бесследно пройти мимо семейских, они приняли деятельное участие в борьбе против отрядов атамана Семенова.

Восстали за общее мирское дело и на защиту своих трудом нажитых хозяйств. „Восстание семейских, охватившее сначала отдельные деревни, начало перебрасываться в районы, которые связывались между собою и создавали крупные партизанские отряды“ [8].

Участие в восстании принимали все, имеющие возможность и силы носить оружие, были конечно протестанты, но их заставили итти миром. „Богатеи не хотели иттить, да мы им пригрозили“ [9].

Но ни одни только угрозы и охрана пожитков заставили восстать семейских. Энергичный свободолюбивый народ, издавна носивший в себе семя протеста против всякого насилия, не мог примириться с плетями и жестокостью белогвардейских генералов и кровью добыл себе „слободу“. Наблюдая и изучая жизнь семейских, нельзя было пройдти мимо народных движений, оставивших глубокий след во всей их жизни, без детального изучения „Партизанщины“ многое можно не так уяснить и понять.

Для того чтобы были понятнее факты, упоминаемые в приведенных ниже частушках и песнях, считаю необходимым коротко осветить главнейшие этапы партизанского движения в крае.

К сожалению мне не пришлось собрать архивных материалов, в полной мере рисующих борьбу повстанцев; почти все документы уничтожались по незнанию важности их или же из боязни расправы белогвардейцев, но все же хотя и с большим трудом, удалось от участников партизанского движения, получить несколько документов, проливающих свет на некоторые периоды восстания [10].

В своем изложении я опираюсь, главным образом, на „устную историю“: на рассказы участников и очевидцев движения.

Узнав о том, что приехала к ним особа „женского полку“, интересующаяся тем, как они добывали „слободу“, ко мне стали приходить семейские, приглашать к себе и даже устраивать собрания (с. Куналей), на которых, один другого перебивая, один другого дополняя, передавали свою грустную, часто полную кошмарных ужасов, повесть: о власти Семенова, о расправе дикой дивизии и т. д. „ Мне ни за чё 25 дали“ говорит кр. с. Тарбагатая, Ив. Ив. Чебунин.—„У меня двух коров угнали“,—жену Павлова (активиста) Семеновцы обобрали до чиста и на прощание избили плетями „заваратили ей сарафан, да по голому телу так отадрали, что недели две ж..а балела“.

Крестьянин с. Куналей, Ковалев, рассказывая об ужасах семеновского режима, указывал, что карательные отряды бросали в огонь жителей за одно подозрение в „большевизме“. Возмущенные крестьяне стали „гарнизоватца“,[11] вести подпольную работу, главными деятелями которой были т.т. Лебедев и Широких-Полянский[12], они помогали семейским разрешать многие вопросы, поддерживали в них бодрость духа. Соорганизовавшись крестьяне завязали связь с другими селами и В.-Удинском и стали готовиться к упорной борьбе. Восстание крестьян в конец ожесточило Семеновцев и они жестоко расправлялись с „бунтарями“, у которых не было плана нападения и защиты. Но репрессии не помогли и к началу 1920 г. Семеновцы оказались в кольце крестьянских отрядов. Вооруженные кое как, крестьяне смело боролись против Семеновцев и твердо решили их изгнать из Забайкалья, поддерживая себя надеждой на приход Красной Армии.

„В нас, когда гарнизовались, была 65 винтовок, астальныя вышли с самадельными пиками, вилами и тапарами, пуль—патрон не была, мастерску устроили. сами пули лили“;[13] вместо пулеметов употребляли громадные трещотки[14].

На усмирение восставших был двинут по направлению к Тарбагатаю карательный отряд под командой Жернова[15]. Отряд был разбит, Жернов захвачен и расстрелян в Тарбагатае, захвачено было кое какое оружие и т. д.

Знаменитая дикая дивизия под командой генерала Левицкого и его помощника Измайлова двинулась по Селенге по направлению Троицкосавска и по дороге производила нападения на окружные села; подверглось нападению д. дивизии и с. Ганзурино[16], которое 12 января 1920 г. было обстрелено Левицким; партизаны, отступали на Тарбагатай и в ночь на 13-е января сделали нападение на Левицкого с трех сторон. Левицкий со своей ордой должен был отступить.

При отступлении, перебив часть жителей, Семеновцы зажгли село.

Победа партизанам обошлась дорого, много у них было убитых и раненых. Левицкий, отступив от Ганзурина, пошел по направлению к Гусиному озеру, по дороге рассорился со своими союзниками—монголами и 17 января 1920 года был убит в местности „Ашарун Шагуй“ [17] с ним погибло около 100 русских.

Борьба повстанцев продолжалась, так как приходилось бороться с уцелевшими отрядами Семенова и с интервентами.

Чтобы выдвинуть исполнительную власть, наладить продовольственный вопрос и устранить некоторые неурядицы, возникающие между повстанцами, был созван съезд „Восставшего трудового населения Прибайкалья“. Постановлениями этого Съезда руководствовались до прихода постоянной Красной власти.

Эти то события и отразились в партизанской песне.

Партизанская песня и частушка, возникшая в бурный период героической борьбы плохо вооруженной, малоорганизованной массы с обученными отрядами Семеновцев, Унгеровцев и интервентов, в настоящее время исчезают. События последних лет так быстро менялись, были так важны и значительны, что совершенно вытеснили партизанскую песню, вместо них возникли новые—с новыми мотивами и иными настроениями.

Чтобы сохранить этот материал, имеющий не только этнографический, но и исторический характер, необходимо обратить самое серьезное внимание на каждый мелкий отрывок, на каждую отдельную частушку, являющуюся иногда единственным документом пережитого. Хранителями частушек и песен является молодежь, особенно девушки, которые охотно пели мне „о том што было“.

Старики и пожилые люди, охотно отвечавшие на мои расспросы о движении в крае, как только заходил разговор о партизанской песне, ссылаясь на незнание и плохую память, отсылали меня за песенным материалом к молодежи: „молодыя знають—у их память лучи, а мы старики не пели“.

Но и молодежь многое забыла и с трудом припоминала, вместо партизанских песен они часто предлагали спеть: про Ленина, Троцкого и комсомол.

Весь материал по партизанской лирике, состоящий из 2 проголосных песен, 22-х частушек и одной военной „под ногу", можно разделить на три группы:

1. Песни и частушки, отражающие действительные события часто с точным указанием имен и фактов.

2. Военные—по всей вероятности занесенные проходящими красными отрядами или же демобилизованными партизанами.

3. Частушки девичьи—любовные, не заботящиеся о сохранении исторической истины, отражающие собою отношение девушек к возвращающимся домой героям гражданской войны и к бежавшему врагу. Все они проникнуты веселым духом и только в одной прорывается грустная нотка—сожаление об убитом партизане.

Песня, относящаяся к 1-ой группе, поется грустным напевом, носит характер стихотворения. Она касается наступления генерала Левицкого, смерти его и обещания партизан бороться до конца за начатое дело.

1. Гороцкия задаюца,
Оне конешно говорять,
Им животы поттянула
Оне в сутке рас едят.
Мужиков оне ругають,
Негодяица такой,
А теперь бы пасматрели
На базаре их с мукой.
Вот Измайлов развернулся,
Всех людей хател пабить,
А ево гаспоть папутал—
Сам на озёри лежить.
Слены [члены] атламлёны
В брюхи сена,
Акрававленный кругом.
Вот начальник их приспешник,
Он сидить на нем верхом,
Имя Семеновцам хателась,
Пабить и паганять.
Вот канцы с канцом сошлися
Имя некуда бежать
Вы за чё-же лихадеи,
Жон, детей наших жгли.
Капиталы ли хатели
За границу увели.
Не забудти лихадеи,
Чё в Ганзурини было!
На илбах ваших напишем,
Всех пабьем вас д'аднова!

К первой группе относится ряд частушек, содержанием которых служат те же события, о которых говорится в песне, а также переживания местных жителей, застигнутых нападением дикой дивизии и т. п.

Частушки 1-ой группы.

1. Вот Измайлов тарапился
Куналей хател разбить,
После етава паслышим:
Сам на озири лежить.

2. Измайлав афицер
Всех людей хател пабить,
А теперь гаспоть папутал—
Сам на озири лежить.

3. Вот Измайлов размахнулся,
Всех людей хотел пабить
Ево черт хвастом папутал—
Сам на озири лежить.

Вторая и третья частушки записаны в с. Куналей и являются вариантом—первой.

4. Научилися мунголы
Из аружия стрелять,
Брацки шубы панадели
Из Ганзурина бижать.

5. Научилися мунголы,
Из арудия стрелять;
Брацки шубы понадели,
Стали на Ганзуру наступать.

6. Научились большевизни
Из винтовочки стрелять,
Пулушубачки надели,
Вышли Ганзуру атбивать.

7. На покосы качевали—
Патеряли кателок,
Вся Ганзурина згарела
Раздуетца папелок.

8. На Ганзуру наступали
Па адной пули было,
Грабли, вилы пасхватали
Всех угнали д'аднаво.

9. Ганзурина стаить в яме,
Тарбатайка у гары,
Всю Ганзурину разбили—
Тарбатайку не магли.

10. На Ганзуру наступали
С Тарбатая качевали,
На Мулевке чакали,
В Тарбатае плакали.

11. На Ганзуру наступали
Тарбатайски жители,
В Пестерева убегали...
(Пропущена одна строка, певица забыла).

12. Атаман Семенов
Правил он вайсками,
А типеря в леси
Бегаить с валками.

13. Селенга, Селенга,
Селенга гранитца,
Измайлова не пустили,
А он материтца.

14. Вот Измайлов удавился,
Кумунист с ума сашол,
Вы из миру тужити,
Скора кончитца война;
Сколь кукушка не кукуит,
Перестанет кукавать,
Сколь японец не ваюет
Перестанет ваевать.

2-ая группа.

Ко второй группе относится одна неоконченная песня, которая служит переложением „Варяга“.

Плещут холодные волны,
Бьются о берег морской...

поется на мотив названной песни и содержанием ее является борьба Семенова с одним из партизанских отрядов на С.-В. фронте и его бегство от сильнейшего врага.

Не вейтися, белые чайки,
Куда жа вам больши слетать,
Летити в далекая моря,
Несите печальную весть:

Там враг Семенов ваюить,
С васьмью партизанским палком,
Патроны уш все на исходи,
Снарядов савсем ужи нет,
Бросил китамку в абози,
А сам беспарятку бежал.

(Не окончена).

Вторая военная песня с мотивом „под ногу“ указывает на бои организованных красноармейских полков с остатками белогвардейских банд в Монголии.

Как мы сопки, сопки занимали,
Пули сыпались, как грат.
Белыя бежать, бежать испускались,
От магучева штыка,
Долга будешь помнить, Забайкалья,
Прихот Савецкава полка.

Частушки девичьи.

15. За Читой огонь гарить
Гарить не разгарантца,
Партизан мой убит—
Убит не падымантца.

16. Играй гармоника, играй бубень,
Мы Семеновских не любим,
Партизан мы абажаим,
На каленачки сажаим.

17. Ни стой на льду,
Лед падломитца,
Мы жилаем, партизан,
С вами пазнакомитца.

18. Не падсвистывай, миленок,
Я ни винаватая,
Разлучила нас с тобою
Вастанья праклятая.

19. Я на бочки сижу,
А под бочкай мышка,
Чиридиловка придеть—
Семеновцам крышка.

20. Яблачка на завалинки,
Прадает ахвицер,
Стары валинки.

21. Партизан лента красна
И ремень через плечо,
Он танцует больно важна
И целует гарячо.

22. Партизан, партизан,
Рубашонка красна,
Па тибе, партизан,
Плакала напрасна.

Две последние частушки поются и сейчас в селе Тарбагатае, только вместо „Партизан“ вставлено слово „Кумунист“.

Ко всем частушкам употребляется припев: Ой, лиля, лиля-ля, ли-ля лиля лиля-ля! Ой, ля ли-ля-да ли-ля-ля!

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. В семейских селениях живет группа русского населения, попавшая в Забайкалье частью насильственным путем, в ссылку за свои религиозные убеждения, частью переселившаяся сюда добровольно. Называется эта группа населения—Семейскими.

Происхождение этого слова „Семейские" до сих пор еще не выяснено и имеет несколько различных толкований. Сами Семейские объясняют это название тем, что они пришли на места поселения семьями. Такое же толкование дает и П. А. Ровинский в своей работе „Этнографические исследования в Забайк. Обл." Изв. ВСОРГО. 1872 г., т. III № 3, стр. 125.

Проф. Селищев А. М. в работе „Забайкальские старообрядцы. Семейские" изд. Госуд. Ирк. У-та г. Иркутск, 1920 г. объясняет происхождение слова „Семейские" от прежнего их местожительства, находящегося по р. Сейме.

2. „Партизанское движение в Сибири". Т. I. Приенисейский край. Материалы, подготовленные к печати А. Н. Туруновым под ред. и с предисловием В. В. Максакова, Гос. Изд. Москва, 1925 г., стр. 293—294.

3. А. Сапинский. „Партизанские поэты Минусинского фронта (очерк поэзии газеты „Соха и молот") Сибирские Огни, 1925 г., № 2, стр. 207.

4. Е. Е. Колосов. „Сибирь при Колчаке" изд. „Былое" Петроград. 1923.

5. М. Азадовский. „Беседы собирателя". О собирании и записывании памятников устного творчества; изд. 2-е, испр. и доп. Иркутской Секции Научных Работников. Иркутск, 1925 г., стр. 61—64.

6. А. Адгоков. „Потери гражданской войны по Селенгинскому аймаку Бурят-Монгольской автономной области", стр. 45. Селенгинский аймак Статистико-экономический сборник Изд. Селенгинского аймачного Испол. Комитета Бурмонг. Автоном. Области, Иркутск, 1923 г.

7. Первая поездка была сделана по поручению Иркутского Госуд. Научного Музея и ВСОРГО, в 1921 г., вторая—в 1925 г. по поручению Научного Музея и Бур.-Монгольского Научного О-ва имени Д. Банзарова.

8. Адгоков А. Выше приведенная работа, стр. 47.

9. Там же, стр. 47.

10. Рассказ крестьянина с. Куналей Верхн.-Уд. уезда, Ковалева, об организации, действовавшей против Семенова в декабре м-це 1919 года.

11. Копии:

1. Протокол организационного собрания в с. Куйтун, от 1919 г. 30 декабря, на котором был решен вопрос о выступлении против Семенова.

2. Протокол допроса крестьян с. Куйтун, обвиненных в контрреволюционной деятельности, от 13 февраля 1920 г.

3. Отношение Зав. Хозяйств. Отделом партизанских отрядов к Павлову Я. Ильичу о посылке ему 10 пудов муки на „поминовение павших товарищей, от 15 января 1920 г. К отношению приложен список „о павших" з бою 13 января 1920 г.

4. Расписки кр-ки Григорьевой получившей 2000 руб. на похороны мужа, умершего от ран в больнице, от 1 февраля 1920 г.

5. Удостоверение Павлову Якову в том, что он командирован на съезд в с. Бичуру, от 30 января 1920 г. За подписью н-ка Бичурского В. Р. штаба Панькова.

6. Протоколы „частного совещания съезда восставшего трудового народа" Западного Забайкалья 25 января 1920 г. Всего 8 протоколов.

7. Рукописные сведения о восстании крестьян с. Куйтун от б. начальника Куйтунского партизанского отряда Александра Фадеевича Родионова. К рукописи приложена его биография и список убытков с. Куйтун с начала движения на Бичурский съезд.

8. Печатный экземпляр „Известия Центрального Исполнительного Комитета советов Прибайкалья", от 9 марта 1920 г., № 3. Известия издавались в с. Тарбагатай.

9. Памятка демобилизованному красноармейцу.

12. Лебедев и Широких-Полянский—коммунисты, работающие первое время среди Семейских в качестве подпольщиков, им крестьяне в настоящее время отдают должную дань уважения и почета. Участвовали оба, как активисты, в открытой борьбе против Семеновцев, принимали участие в Бичурском съезде. По словам крестьян Лебедев уроженец Иркутска, а Широких-Полянский, учительствовавший в с. Бичуре уроженец Читы.

13. Гарнизация—организация.

14. О вооружении отрядов записано со слов активиста Павлова, председателя Тарбагатайского ВИКА; рассказ Павлова подтвержден многими быв. партизанами.

15. Трещотку—пулемет мне лично удалось видеть в школьном музее с. Куйтун.

16. Фамилию начальника карательного отряда точно не удалось установить, т. к. крестьяне его называли „Жарнов, Жернов и Жарлов".

17. Адгоков А. Вышеназванная работа, стр. 48.

Г. В.

Из записей фольклориста.

Музыканты в Тункинском крае.

Из музыкальных инстументов тункинцы знают б а л а л а й к у (балалайка), с к р ы п к у, г а р м о ш к у, меньше всего—м а н д о л и н у. Гармошка, как и мандолина—инструменты „фабрицкие“. В последние годы появились не только „фабрицкие“ балалайки, но и скрипки. Однако они не вытеснили своедельских инструментов этого рода. Как и прежде, до появления в большом сравнительно количестве фабричных инструментов, так и теперь, чуть не в каждом селе есть мастера, обслуживающие односельчан-музыкантов и музыкантов из соседних селений, деревень и заимок.

В с. Талом, населенном ясачными, мне посчастливилось познакомиться с популярным там и в окрестностях музыкантом и мастером—Егором Ивановичем Сороковиковым, видным 50-тилетним мужчиной. Он делает балалайки и скрипки.

Скрипка, по его (почти буквально записанным) словам, делается не из одного материала. Верхняя крышка—из кедра; за неимением кедра—можно из ели. Нижняя крышка—березовая или осиновая. Гриф—береза. Кузовóк делается на болване (тоже своедельском). Величина—по усмотрению; лучше—с фабрицких скрипок. Лады—на слух, „до самого края“. Звук зависит от тонкости крышки и умелой оклейки. Неумелая оклейка не позволяет давать хороший звук: получается дребезг и настоящего звука нет. Высота кобылки—смотря (по тому), как установлен гриф. Колкú замыкают слюной, а то—мелом: мел очень крепко держит. Очистка смычка, если он загрязнится, (производится) тоже мелом; затем следует натирать канифолью. Плохие игроки—те натирают лиственичной серой: с в е т л я к и на лиственице, сосýльки, сказать, такие бывают. Светляками натирают, как канифолью, только смычек плоховато идет.

Сам Егор Иванович—хороший настройщик и „игрок“. Его репертуар, выполняемый на скрипке, содержит: две польки, краковьяк, малороссийского казачка, За гаем, гаем..., По улице

мостовой..., камаринского, Выйду-ль я на реченьку..., Во саду ли, в огороде..., Сени мои, сени..., За Кубанью рекой..., Стеньку Разина: Што ни царский воевода..., За реченькой слободушка стояла..., Ваня разудала голова..., Как по улице молодец идет.., все свадьбишны песни.

Кроме скрипки, он играет на балалайке, на мандолине,— „своим слухом дошел". На гармошке тоже мог бы играть, но не любит ее Егор Иванович: „гармонь—уличная музыка". Впрочем, эпитет *уличная* здесь обозначает только наиболее подходящее место для использования этого музыкального инструмента.

И балалайки он делает. Нонешная балалайка, фабрицкая,—частоладка; на старой (своедельской)—семь ладов. не более, а то и на четырех ладах работает.

Делается она из ели или из кедра—вся, только шейка березовая: верхняя доска—еловая или кедровая, по неимению—сосновая. Верхняя доска—не сплошная: с прорезом, даже с двумя или тремя, а то звук заглушает.

Егор Иванович—мастер не единственный в этих местах. Даже в рядах молодых мужиков встречаются мастера. В Хобоке, рядом с Талой, называют несколько мастеров, изготовляющих балалайки; из них я свел знакомство с Андреем Гавр. Нефедьевым. Называют мастеров-балалаечников и в других местах.

Музыкантов называют без затруднения. Егор Иванович говорит, что еще недавно в Талой было скрипачей с пяток. Встарину тоже было немало. Балалаечников было и есть много. Молодежь больше играет на частоладках; старики и люди пожилые в том же Хобоке (Ив. Ив. Солдатов, Гавр. Гавр. Нефедьев и др.)--на старых редколадках. Теперь предпочитают „струны из проволоки"(металлические), а прежде,—вспоминает Макс. Григ. Пежемский (с. Туран),—вытягивали из бараньих жил и кишек, придерживаясь седой древней традиции:

> ...певец, приобыкший
> цитрою звонкой владеть, начинать песнопенье готовясь,
> строит ее, и упругие струны на ней, из овечьих
> свитые тонкотягучих кишек, без труда напрягает.

Видным „ на Тунке" скрипачем слывет „Миша Кудривтаф—больши никак ни завут—старик уж, лет 60. У тургующих на вичираф играл, играл на свальбаф" (свадьбах).

Из людей среднего возраста у туранцев пользуется известностью, как мастер (делает скрипки и балалайки) и как

музыкант, Михайла Кирсаныч Пежемский, владеющий скрипкой, балалайкой; играет на гармонье. В Шимках не могут нахвалиться игрой скрипача Григ. Инн. Шубина. В Нижнем Нерюхае слывет как скрипач Глеб Афан. Тугаринов; в прежние годы его приглашали играть на свадьбах; теперь играет на семейных праздниках только у родни. Там же знают скрипача Сарафона Константиновича Чернигова; на Аршане —Вл. Инн. Усольцева. Приметным мастером и музыкантом-балалаечником считался в Тунке Конст. Федор. Домышев, теперь уж старик.

Ахаличане указали небольшую ассоциацию скрипачей: Пав. Макс. Домышева, Инн. Инн. Демина (более 50 лет каждому), Алексея Афан. Ощенкова (лет 40),— „играют па свайбам: на всю ли свайбу, на три ли гня (дня) приглашают". „Играт скрыпкай па свайбам",—по тем же данным, — сороколетний скрипач Як. Сем. Усольцев, по прозванию Яша Красенький: „может с гармошкой (под акомпанимент гармоники) играть".

Подавляющее большинство поименованных мастеров и музыкантов—люди или совершенно неграмотные или малограмотные.

Гармонистов много, особенно среди мужской молодежи. Достойно примечания, что крестьянские женщины или девушки, выделяя из своей среды довольно значительное количество хороших голосов (сколько наблюдал, высоких голосов мало, контральто—не редкость), большое число певиц, не находят в своей среде ни скрипачей, ни гармонистов; даже балалаечницы—редкое явление, и в качественном отношении они далеко уступают музыкантам-парням.

Гармонисты исполняют преимущественно плясовые песни; из них наиболее употребительны: б а р а н я, т ӧ ж и к (чижик), несколько п о л е к. На поляне в Петров день (Аршан, 1925) молодятник под гармонику усердно плясал „казачка", „тӧжыка", „рускую", „польку", „шыстерку"; восьмерки, о которой говорит П. А. Ровинский при описании Тунки (Древняя и новая Россия, 1875, XII, 387), молодежь не знает.

Пляшут парни и девушки с серьезными, поразительно спокойными, словно застывшими лицами. Парни пляшут неважно, зато „форсисто", молодецким посвистом приглашают девушку на танец. Среди девушек есть весьма незаурядные плясуньи.

Н. Хандзинский.

Блатная поэзия.

Рибитё вы рибитё
где вы сару бирите
галóушки ламáитё
д'сáру добывáитё.

(Забайкалье, Хилок, лето 1925 г.).

„Блатная поэзия" –такой темы в литературе, кажется, никто не ставил.

„Арестантские песни", „песни каторги", „тюремные и поселенческие песни",—все это, хотя и имеет свое лицо, но вследствие слишком увеличенного масштаба—такие темы вытравляют те специфические грани, которые присущи языку тюрьмы и которые обеспечивают поэзии особое качество новизны и необычности.

Тюрьма, домзак, изолятор, централ,– они всегда давали и дают приют всем, от профессионального вора, убийцы—до ответработника, поэта, художника, выравнивая всех под одну кличку: арестант, каторжанин, заключенный.

Поэтому „тюремная песня"—это слишком обобщенное, терминологически неопределенное, неуловимое явление. В ней, в „тюремной песне", мы обычно имеем „тюремные" мотивы и почти никогда—специальной тюремной формовки.

Песни „тюремные" пишутся и на воле—людьми, совершенно не знающими тюремной жизни, и эти песни зачастую становятся самыми популярными.

Но все это не обеспечивает за ними права называться „специально тюремными": они не обладают точным знанием быта преступника и быта тюрьмы, потому их лаборатория не располагает специальным материалом, как в области художественно-бытового мотива, так и в области языковых средств.

Все эти тюремные идиллии и сантиментальности, как „Узник", „Солнце всходит и заходит" и др. очень далеки от любой тюремной обстановки. Они скорее отражают настрое-

ние человека, случайно запертого в комнате, чем заключенного в одиночке. Поэтому недостаточно оперировать „тюремными“ мотивами,—необходимо требования проводить по линии языка и формы.

В данной работе я беру узкую, но и более определенную тему.

„Блатная поэзия“—она и в тюрьме и на воле. В тюрьме она—истинно-тюремная, но и на воле она—не вольная.

Ее творец приносит свои достижения в тюрьму,—он конструктор тюремной речи; он же уносит ей и на волю и здесь вплетает в свою повседневность.

„Блатная поэзия“ резко выделяется из хаоса т. наз. „тюремной“ особенностями формального свойства: она имеет свой особый „блатной“ язык. Это уже дает право рассматривать ей, как явление совершенно оригинальное.

Тематическая данность „блатной поэзии“ тоже чрезвычайно специфична и почти чужда тех общих фабульных моментов, на которых компануется традиционная „тюремная“ песня вообще.

Объемность темы оправдываю материалом, который собран мной за лето 1925 года и зиму 1926.

В него входят: 1) Блатные частушки, 2) песни, 3) стихотворения, 4) полустиховые отрывки декламационного характера.

В количественном отношении собранный материал считаю чрезвычайно незначительным.

Зависит это не столько от краткости времени, сколько от вполне понятной скрытности носителей „блатной“ поэзии, через которую он невольно выдает не только тайну своего языка, но и тайну своей профессии и свои преступления.

В каждом чужом человеке он принужден видеть „легавава“, „кап-кап“, который может его предать.

И еще одну важную причину выдвигает мой, хотя и кратковременный, опыт собирания „блатной“ поэзии,—это то, что мы опоздали с собиранием этого материала.

Наиболее крупные и видные носители этой поэзии—исчезли. Формы нового государственного устройства безусловно не способствуют процветанию „блатиков“ (см. материалы—47).

Даже изоляторы не в пример старым тюрьмам, этим школам преступности ведут упорную борьбу с „блатным“ жаргоном—через свои учебно-воспитательные части.

Они имеют свои клубы, школы, стенные газеты и нередко довольно приличные журналы с тиражем до 10.000 („Всюду жизнь". Орган заключенных. 1925. Изд. учебно-восп. части Орловского изолятора).

Но напрасно искать здесь „блатной" поэзии: всё специфическое вытравляется; неисправимое—уничтожается. Пропускаются лишь самые безобидные слова, которые получили уже права гражданства:

„ .... раздражает и хромой, который сейчас же после поверки залег кимарить и храпит теперь во все носовые завертки.

.... нас предупредит во время оставшийся на стреме хромой.

.... Поднялся шум,—это наши подняли шухар.

.... этот дурак еще нашухарит раньше времени.

.... они пойдут в знакомые только им одним хазы".

(Побег. „Наша мысль", № 1. Иркутск. Изд. уч.-восп. части Иризолятора).

Вот все, что можно взять из целого рассказа.

Но и там, где бы казалось „блатная" поэзия должна была найти для себя свободные страницы, ее тоже нет.

В толстой книге—Генкин, И. „По тюрьмам и этапам", Петербург, Госиздат, 1922, в главе—Рецидивист, стр. 395—помещен вариант „блатной песни", при чем вариант один из менее удачных, где на 20 стихов—не более 3-х блатных слов.

М. Н. Гернет (В тюрьме. Очерки тюремной психологии. Изд-во Право и Жизнь. Москва, 1925) поэтическим материалом совершенно не пользовался.

То же самое нужно сказать и о книге „Преступный мир Москвы"—1924.

О журналах при изоляторах я уже говорил; упомяну только еще некоторые из них, с которыми мне удалось познакомиться: „За железной решеткой", № 2—3, февраль—март 1924 г., ж. заключенных Вятского исправтруддома. „Тюрьма"—ж. заключ. Москва. 1921. „Сброшенные цепи"—периодический ж. заключ. Башцентрисправдома. Уфа. 1925. „Новый путь"—ежем. ж. заключ. Челябинского исправдома, № 1. 1926.

Не странно, что „блатная" поэзия отсутствует в тюремных журналах: „блатные" в журнал ее не дают,—и журнал бы ее не печатал, так как это противоречит воспитательным принципам.

Итак, даже вся вольная литература, издающаяся вне тюрьмы, она или игнорировала блатную поэзию или же просто, не придавая ей большого значения, не прилагала усилий к ее открытию и записям. Но „блатной жаргон“ пользуется вниманием уголовного права.

Имеется несколько словарей:

Попов, В. М. Словарь воровского и арестантского языка. Киев. 1912.

„Блатная музыка“. Словарь жаргона преступников. Управление Уголовного Розыска Республики. Москва. 1923*.

Один лучше, другой хуже, но все они страдают одним общим и крупным недостатком,—это отсутствие паспорта у предлагаемого материала. Между тем—неоспоримо, что блатной язык живет, эволюционирует; некоторые слова его умирают, другие нарождаются, подчиняясь влияниям социально-экономических форм жизни.

Нельзя отрицать и того факта, что многие слова—чисто местного происхождения; на ряду с словами, которые трактуются единообразно в масштабе международном есть и такие, которые имеют различное значение на территориях двух тюрем.

Выражение „за Ушаковку“—только для Иркутска...

„Горка“—в значении—расстрел—термин. связанный с характером рельефа Иркутска; „боярку караулить“—характерно для Сибири. „Чора“—то же, что и „горка“, известное по Иризолятору, не общеизвестно („Щербаков ждет чору; за Ге П. У. верная чóра“).

В периодических изданиях „блатному жаргону“ посвящено не мало статей.

Фабричный, П. Язык каторги. Кат. и ссылка. 1923. VI.

Чуканов, Т. В. Жаргон преступников. Вестник Права, 1916, № 33.

Обе работы не исключают вышеуказанных недостатков, при чем первая—чисто словарного типа; вторая ставит себе цель „осветить психологические и социальные основания творчества русского преступника, создавшего свой жаргон“.

Выше Чуканов замечает: исследователи „к сожалению, совершенно не воспользовались жаргоном тюрьмы, как мате-

---

* Словарь Трахтенберга—самое солидное издание этого рода мне не удалось достать в Иркутске.

риалом для выяснения психологии преступника и его отношения к современной системе борьбы с ним".

Правильно... но тогда—какой же огромной важности материал для этой цели представляет поэзия преступника, также почти не тронутая до сих пор. Иркутский Музей Уголовного Розыска, только что открытый, безусловно мог иметь немалый поэтический материал, но, повидимому, значение его ускользает от внимания собирателей музея.

Хотелось бы, чтобы скромные записи, которые мне удалось сделать в пределах г. Иркутска, хоть отчасти восполнили этот пробел, а самое главное—пробудили бы интерес и энергию к дальнейшему собиранию.

■ ■ ■

Предлагаемые здесь материалы „блатной" поэзии далеко не полны даже в очертании того круга, в границах которого производилась запись. Но еще более досадным недостатком является отсутствие записей „женской блатной поэзии", а также и—малолетних преступников. Будем надеяться, что это явление временное, и что эти свободные страницы фольклористами будут заполнены.

Перехожу к материалу.

Часть его собрана на воле,—записана или мной самим, или передана мне уже в записанном виде носителями этой поэзии, или просто записавшими тексты от других. Другая часть собрана в Иркутском губизоляторе,—записи сделаны и переданы мне самими заключенными. И третья часть—записи заключенных, большею частью смертников,—оставленные на стенах и дверях камер одиночного корпуса.

Блатная поэзия—это вся жизнь преступника с того момента, как он стал „блатным" и до „вывода", когда он получает „вышку".

Главные темы—„дело", успехи и неудачи, жертвы его похождений и его враги, любовь, „судьба"...

В песнях мы находим данные о том, как чаще всего человек становится преступником.

Ни для фарту я радилса,
васпитался у радных,—
варавать я научилса
у таваришшаф сваих.

Учеба начинается с детства—и, уже

„с тринатцать лет
па ширме стал нырять
с семнатцать лет са шпайкай,—
на сто́порки—
нача́л втыкать“...

Начинается с мелкой кражи, потом по „карманной тяге“ работает, затем „стопорка“—открытый грабеж, который может быть совершен и в доме и на воле.

В доме—или сажают в подполье или связывают веревками (12),—на воле под угрозой оружием; когда необходимо взять у „фраера“ нужные сведения (напр.—где лежат ценности), проводится „стопорка с пыткой“: вокруг головы через лоб слабо обвязывают ремень и закручивают его палкой, – ремень сдавливает череп. Это так наз. „сухое дело“. Следующая ступень: „мокруха“—грабеж с убийством, с пролитием крови—„мокрое дело“.

В Иркутске не так давно были известны по „сухому делу“—„кашовники“, которые зимой разъезжали в кошевах ночью, и с целью грабежа ловили людей петлями (21).

В Чите эти приемы практиковались с заборов, с деревьев пустых кварталов, заросших сосняком.

Помещаемые в материалах частушки—почти все прошли через Иркутск, как творческий этап, что подтверждает их географическая предметность: здесь и притон—„столовка „Маржан“ на Хлебном базаре и примыкающие к горе и базару улицы—Подгорная, Солдатские (5, 19, 25, 26).

Следующей ступенью преступности является „бандитизм“, героями которого будут „нале́тчики“—„бандиты“.

Из песен, им принадлежащих, к сожалению, не записано ни одной, которая была бы создана в условиях их обычной разбойной жизни; „песнь налетчика“, „песнь смертника“ и „кругом темно“... (материалы—33) созданы уже в иной обстановке, на мотивах тюремной неволи, потому они и освещают обычно эту фазу психологического состояния, когда все специфически разбойное в творческих мотивах и формовке неизбежно бледнеет и нередко выпадает из поля зрения.

Но и в этом аспекте налетчик остается самим собой и творчество его нельзя смешать с непатентованной имитацией,—так наз. „тюремной песней“.

Поэтому в существующей до сего времени терминологии песен („тюремные", „каторжные", „арестантские") необходимо сделать не только отбор и ввести основательные коррективы, но, вероятно, необходимо провести коренные изменения, т. к. принципа в существующей терминологии нет; такие называния затушевывают принципиальные различия, ибо—„каторга", „тюрьма", „арестант"—не только не подчеркивают индивидуально-специфических сторон предмета, а, наоборот,—стирают их.

„Блатная песня", данная самим бытом, резко выделяется из хаоса „тюремных песен", хотя бы она и распевалась в тюрьме, т. к. непременно предполагает уголовный (узко „блатной") характер деятельности человека, из которой он черпает мотивы, а также—ту или иную насыщенность ее „блатным жаргоном".

В блатной поэзии любовь и женщина занимают не меньшее место, чем преступления и „судьба" героя.

Как и вся „блатная" история, так и любовь в ней—несчастная любовь; и несчастье это не в том только, что „кича" является разлукой для любви, а следовательно моментом, вносящим мотивы горечи; дело, повидимому, в самой женщине. Одно из приводимых в материалах стихотворений говорит об этом очень прямолинейно—

„Любовь ширмача
как огонь горяча,
а проститутка,—как лёд холодна...

В жизни—

„он о краже хлопочет",

работа—полная смертельных приключений, а—

„она на кровате
лежит да хохочет"—

беспечность и почти презрительное равнодушие; а когда „завалится", когда ведут его на кичу,—

Стоит моя моруха—
и руки под бока".

Это одно; но еще более тяжелый мотив любви—это измены; „ширмача" только что повели в „легавую", а „ее—проститутку—товарищи ждут",—его „моруха" уже переходит в другие руки, она сейчас же забывает о бывшем друге.

Потому песня отмечает большую силу чувства заключенного, его тоску по любимом человеке:

„Не спитца мне не лежитца
и сон миня ни бирёт,
приди жа ка мне, дарагая,
и успакой миня".

Но заканчивается обычно угрозой женщине и мщением:

„тебя я в могилу отправлю,
а сам назат в тюрьму...

Стихотворение „Карманьшик" (вариант)—прямо говорит: „женьшины—изменьшицы нам"...

И женщина, являясь сообщницей и нередко помощницей в преступлениях („Карманьшик"--вариант), так же просто и предает своего друга и посылает его на преступления, за что получает от него нежное имя—

„Вы скажите моей жабе"...
(„В пересыльным бальшим замки"...).

Да и вообще—бо́льшая часть блатной поэзии отмечает, что любовь и женщина являются исходным мотивом, толкающим на преступления („Карманшик", „Блатная песня", „В пересыльным бальшим замки" и № 34).

Ныряя „вагрубую", чтобы добыть покой любимой женщине, блатной нередко за ту же женщину, мстя ей за измену, идет на „кичу" уже за „мокруху"; или же, что совершенно обычно,—пропивает с женщинами все, что добыл: Тамары и Маруси выпускают его чистеньким и голеньким, и он снова идет грабить (см. материалы—34).

Из женских имен в стихотворениях и песнях блатной поэзии фигурирует главным образом одно—„Тамара", и только в одной, неполно записанной в Забайкалье, да в частушке,—встречается „Маруся". „Тамара"—это обычно—злой гений преступника, изменщица, продающая и продажная; редко она бывает стойкой, готовой жертвовать за друга (см. материалы—40).

Безусловно, во взаимных отношениях не малую роль должно играть обаяние личности.

„Дом смерти“.

(Надпись на правой стене; одиночный корпус, камера 24, 2-ой этаж, Иризолятор).

Зайдеш сюда
не грусти, а
уйдеш не радуйся
(одиночка 52).

Одиночный корпус,—его первый этаж,—является для тяжкого преступника обычно предпоследней фазой жизни—и последней ступенью, с которой мы еще слышим голос его творчества.

Здесь на стенах и дверях, на железных плитах стола и стула (они похожи на стенные полочки на кронштейнах, только очень низко укрепленные) заключенный (обычно смертник) фиксирует обрывки своих мыслей, примитивно иллюстрирует их. Это—жизненная излучина;—остро необычны темы, упорно однообразны—и там, где темы раскрыты,—те же упорно-однообразные мотивы, ибо тема одна—смерть.

Входишь в маленький продолговатый ящик; внутренняя поверхность двери, как вековая скала; -по пожелтевшим белилам вся исцарапана до черной жести надписями и рисунками. Масса имен... Приглядываешься к стенам—стены тоже исписаны по всем направлениям—карандашом, математическими остриями. На каждой стене цифровая азбука.

„Ты мне скажи
если азбу знаеш
тогда мы можем стобой
поговор...“
(Кам. 52, левая стена, у окна—карандаш).

Обще впечатление—кладбища, потому что каждый почти зарисовывает себе надгробный камень и крест и пишет эпитафию, — только моменты рождения и смерти заменены моментами „сужден“—„выведен“.

„Сужден“ 26 ноября“.
(Верхняя перекл. креста).

„Выведен 29 нояб...“
(Косая перекл. креста).

„Здесь сидел покойный
но иво растреляли
и свинком на стине
сделан памитник“.
(Надгробн. камень)

Из записей, выполненных прозой, которых большинство,— одна часть фразового типа, другая—из более обширных по объему, дающих описание „дела“ и отношения к суду или представляющих письма к родным (кам. 50 и 47).

Фразовый тип состоит из большого количества таких надписей, которыми в жизни заполняют визитные карточки или металлические пластинки на дверях с соответственными для одиночки изменениями в графе, где указывается профессия или должность:

„Смертник
Гришка Степанов
Цыганок“. (Кам. 47).

или — „Кирька
Волчатов 18 лет
утвержден“. (Кам. 58).

К этому же типу отдельных фраз нужно отнести и различные изречения философского характера.

„Приходящий не смущайся,
а сидящий не грусти“... (Кам. 55).

Из них многие имеют юмористическое содержание:

„Вперет смерти
ни помирай никто
не советую“. (Кам. 55).

Более крупные по объему записи представляют протокольные сообщения следующего типа:

„Здесь сидел
приговорен к Котя Зинин
растрелу из города Мелитополя
14-го июля Екатериносл. губ.
1925 г.
и 1923 года был
приговорен
крастрелу“. (Кам. 53).

или Ив. Черных
по 184 ст. 2 ч. грабеж с убийством
касирова 14/VII Верхсуд
утвердил 13/VIII 1925 вывели
26/VIII 25 г.

Самая крупная запись сделана Махаловым Александром Павловичем—до 250 слов. Она представляет описание побега с поезда № 22, поимку их отрядом, суд над 25 преступниками и отношение к Верховному Суду и Соввласти по поводу приговора. (Кам. 50).

Мотивов прозаических записей основных—немного; это—

1) дата ареста и суда, 2) приговор, 3) характер преступления и статья Уг. Код., 4) кассация в Верхсуде, 5) помиловачие во ВЦИК и 6) окончательный приговор. Обычно сообщается имя того, кто „продает", с призывом отомстить.

Эти записи вынужденно кратки в силу трудности их исполнения,—зато они обычно отличаются большой экспрессией содержания при крайнем лаконизме. Такие записи сделал Солодун Михаил. Повидимому, это была незаурядная личность—тип легендарного разбойника. Оставленные им рисунки—исключительно—твердой линии, правильны и четки; смело вычерченный сплошной линией профиль—воспроизводит молодое энергичное лицо. Стилизованный чертополох у креста—воспоминание южных степей.

Солодун—преступник, сознающий тяжесть своего преступления; он не ждет пощады, он не возмущается приговором суда; в пяти словах он высказал смертельную ненависть тому, кто „продает"—и одно слово о мести. Как отклик на его призыв, сделаны записи камеры 64 (материалы—46). Помещенное там же на двери стихотворение, как будто посвящено памяти М. Солодуна (материалы—47).

Такой же силой смертельного бессилия перед совершившимся фактом—наделена краткая, всего в девять слов, запись Ваньки Черных, спокойная внешне, сказанная полубессознательно:

„Середкин ловко
меня подвел несколькими словами я
лишаюсь жизни".

Ванька Черных
1925 10 июля.

Его отношение к Середкину—презрительно-спокойное,—

„За друга Гришку Середкина
ё . . . . го *придется погибнуть*".

Повидимому, у Середкина не было злого умысла против Ваньки Черных.

Я не буду вводить в дальнейшем весь тот интересный материал прозы, который взят со стен одиночек, так как он имеет психологическое значение и уместен при постановке иной темы,—а приведу из этих записей только стихи и песни, принадлежащие определенным именам смертников.

Двое из них—Ванька Черных и Васька Буров приговорены к растрелу в числе других из девятнадцати—по делу, которое можно представить по записи одного из соучастников:

Москва

Солодун Михаил
имею 10 лет и вновь обвиняюсь
по 1 ч. 86—2 ч. 184 и 95 ст. У. К.
за побег с убийством конвоиров
с ограблением поезда 22
отстрел с убийством сот-
рудн. Н. У. Г. П. У. в тайге
ждем суда
по делу 34 чел.
9 убито в тайге
25 налицо
продает б . . . . ё . . . . .
Фролов курва
отомстите. (Одиночка 55, дверь).

. . . . . .
по побегу с мокрухой
и ограблением поезда
1925 г. 19 апр. (Там же).

Оба они—Черных и Буров сидели в одиночке 52-й и сделали записи стихов и песен после приговора.

За подписью И. П. Черных имеются стихотворения:

1) „Жизнь для нас“... 2) „Помилование“.

За подписью „Буров“ две песни—„Песнь налетчика“ и „Песнь смертника“.

В одиночке 48-й имеется запись стихотворения „Лутше умереть“... Васька Сулейманов,—и две стиховых записи, не имеющие ни дат, ни авторских подписей,—в одиночке 64,—„Товарищи наш святой долг“... и „Здесь товарищ погиб“...

Одиночный корпус и ожидание расстрела создают не только особые условия творчества,—но и выдвигают необычный стимул к нему.

Все это обостряюще действует на психологию творящей личности и в среде неквалифицированных мастеров,—решительно влияет на качество продукции.

Перечисленные выше песни и стихотворения характерны именно этой стороной: в них—при некоторых достижениях формальных, приходится отмечать особую внутреннюю экспрессивность, экспрессивность тематическую.

В психологии смертника обычны несколько моментов, которые как темы и раскрываются в их творчестве,—это: 1) чувство бессилия перед совершившимся фактом приговора, 2) просьба о помиловании, 3) сожаление о прошлом...

Эти темы, как основные,—разработаны в стихах и песнях И. Черных и В. Бурова.

Первая тема дана коротко—в стихотворении Черных „Жизнь для нас“,—и более широко раскрыта в „Песни смертника“ В. Бурова.

Разница между этими двумя вещами не только объемная: стихотворение И. Черных, несмотря на краткость,—является вполне законченным и резко отличается от „Песни смертника“ психологической значимостью своих мотивов.

Чувство неизбежности смерти приводит человека к страданиям, которые сильнее самой смерти. И вот с этим-то психологическим фактом смертник естественно ведет борьбу.

В борьбе с этой жутью смертник должен учитывать, что не только ужас смерти, но и радость жизни—его смертельные враги. Моменты победы над ними являются моментами полного облегчения.

И. Черных выходит из этой борьбы победителем в своем первом стихотворении.

Введенная им деформация явлений действует так, что признаки отбора утрачиваются. Кажется, будто то и другое ему одинаково безразлично,—и жизни не жалко и смерти не страшно.

Иначе построена „Песнь смертника“. В ней шесть основных строф текста, остальные являются припевом. На протяжении пяти строф Василий Буров выступает пассивным смертником, не столько подавленным тяжестью близкой смерти, сколько покорным, вследствие ей неотвратимости,—только сожалеющим, но не борющимся. И только в шестой строфе он пытается ослабить тяжесть настроения. Введенные здесь мотивы направлены к тому, чтобы сказать, что после такой

жизни, цена которой „уж не ломаный грош“—и умереть не досадно. Это тоже один из мотивов борьбы смертника против страха смерти; он обычен для сильных натур. Так Гришка Цыганок заканчивает запись о себе:

..... „погибаю низдря“.

Но мысли текут. Психологические победы смертника часто являются мгновенными, и на смену им приходит вновь обычное понимание вещей и фактов, и жажда жизни вновь овладевает сознанием, а насильственная смерть, как всегда,—в молодом здоровом организме представляется отвратительно-страшной.

Этим объясняется, что И. Черных вслед за первым стихотворением пишет „Помилование“, которое обнаруживает в авторе совершенно противоположное психическое состояние.

С тематической стороны он и здесь использует самые сильные мотивы-аргументы.

Клянусь пред гробом Ильича
что я случайный ведь преступник
и даю слово бедняка
что я исправлюся, как блудник.

Это приемы социального свойства,—и они чрезвычайно полновесны.

При ином социальном положении—такой тематической установки быть не могло.

Характерна—во второй половине этого стихотворения—выдержанность словесного оформления, согласно настроения момента: страх смерти, испытываемый человеком, заставляет его обходить страшное имя, и Черных заменяет его моментом времени, с которым обычно расстрел совпадает:

„Только спасите от того,
чтоб не идти мне на рассвете“...

Но, гармонируя с психологией автора, этот метонимический прием неназывания самого факта, дает в то же время высшую формальную выразительность.

На основном мотиве сожаления о прошлом—построена В. Буровым и „Песнь налетчика“.—Она порождена тем же стимулом, что и „Песнь смертника“. В ней заложено то же ритмико-мелодическое движение (отступления незначительны). Существенное отличие вводит последняя строфа этой песни,—это мотив мести.

Относить-ли данную вещь твердо к творчеству Бурова, или считать ее чужой,—все равно, последние два стиха, дающие обещание—мстить, являются чрезвычайно красноречивым доказательством той мысли, что смертник вынужденно и безусловно ведет борьбу против страха неизбежной смерти—всеми средствами.

Для Бурова совсем не логично—

„Но вот скоро я выйду на волю"...

Он—смертник; для его положения этот мотив является сознательным сочинительством или сознательным использованием чужого приема, но он нужен ему, как мотивировка для ввода мотива мести, который сильнейшим образом влияет на психику, вытесняя на время все то, что до сих пор поражало сознание.

Мотив мести не есть орудие фронтального удара, и он не поражает страха смерти,—он только отодвигает его. В этом его отличие от приема открытого выступления и презрения к смерти.

Два стихотворения, записанные на стене и на двери одиночки 64, характерны тем же упором на мщение—посредством приема психологического вытеснения факта сознания.

Мотив мести дается в форме призыва к мщению за друзей погибших.

Психологическая мотивировка предполагает насыщенность психики чувством мести и стремлением поддержать огонь озлобления.

Из материалов следует особо отметить юмористическое стихотворение „Гоп—со смыком". Не представляя ничего нового в области стихотворной композиции, оно тем не менее выделяется среди других юмористической окраской мотивов и фантастикой, через которую действие переносится на „тот свет", где блатной не только не прекращает своей преступной деятельности, а, наоборот, находит, что там она необыкновенно прибыльна и почти безопасна. (См. материалы—41).

Переходя к рассмотрению формальных сторон „блатной поэзии,—мы с первого же взгляда должны отметить, что весь круг рассматриваемых вещей создан под непосредственным влиянием города и городской культуры: частушка городского типа и связана с городом своей тематикой; песни ведут перекликк с печатными вещами, романсами и шантанными куплетами; стихи явно указывают на свою связь с стиховой литературой.

Это подсказывает вывод, что создатели блатной поэзии—дети города; город ставит их в ряды голодающих безработных, город же даёт им возможность—при наличии соответствующей психики и инициативы—заняться преступной работой,—легкой, своего рода—свободной профессией.

Совершенно другой характер носят арестантские песни, помещенные в труде Максимова „Сибирь и каторга". Они туго-натуго связаны с народной песней; в них свежи все приемы народной поэзии—от эпитета, сравнения и образа до ритмико-мелодических аналогов.

Я не считаю нужным давать здесь детальный анализ формальных конструкций „блатного творчества". В нем много от городских мод и литературных традиций, понятных нам с первого взгляда, хотя и не везде легко припомнить использованные образцы. Так „Блатная песня" и „Турчанка" (материалы—31, 32) представляют любопытный пример переделки стихотворения Пушкина „Черная шаль".

„Карманшик" (материалы 36, 37) обнаруживают разнородные влияния—от уличных песен, вроде „Чудный месяц плывет над рекою", через шантанные куплеты и песенки—до стихов.

М. К. Азадовский обратил мое внимание, что „Любовь ширмача" (матер.—35) напоминает известное стихотворение H. Heine «Ein Weib», популярное в русских переводах, один из которых легко мог быть использован в этом стихотворении., например:

„Любовь их была горяча и сильна,
мошенник был он, потаскушка она,
когда молодцу сплутовать удавалось,
кидалась она на кровать и смеялась
и т. д.

Сходство и в общем содержании темы и в отдельных моментах.

Стихотворение „Здесь товарищ погиб" (матер.—47) представляет переделку революционной песни.

Нет надобности устанавливать преемственность всех поэтических форм помещаемых здесь материалов.

Это не подчеркнет их оригинальности.

Но есть в „блатной" поэзии" особая формальная острота,—непонятные, необычные слова и выражения, а также слова, употребленные не в прямом смысле. Они более, чем тематика, заостряют своеобразие вещей.

Неоспоримо, что воровской или „блатной жаргон"—есть орудие борьбы за существование; он порожден психологией профессионального преступника, основания его—условия социально-экономические. Но нельзя оспаривать и того факта, что в творчестве жаргон вводится не только в целях конспирации, но и как прием необычных словесных оформлений.

Что это так, доказывает факт воздействия „блатного творчества" на наше сознание: не столько обостренность тематическая, сколько словарная,—производит на наше восприятие впечатление резких отклонений от обычного. Мы испытываем это, как новизну в приемах оформления, как особое качество; а это—закон художественных построений.

„Блатной словарь"—даже старые композиционные формы преподносит обновленными.

Отмечу еще одну особенность „блатного творчества".—это формовку метро-ритма стиха и песни по заданию.

Большинство вещей „блатной поэзии" пишутся для пения а не читки; при них мы имеем чрезвычайно характерные и ценные примечания, указывающие—по какой мелодии нужно выполнять ту или другую песню. Так к №№ 27 и 28 мы имеем замечание „на мотив чардаш", частушки 1, 2 и т. д. „под яблачка"; „песнь смертника"—„на мотив—ямщик не гони лошадей".

Отмечаемый факт важен не потому только, что через него можно квалифицировать мастерство данного лица в области стиха—он чрезвычайно знаменателен для современного положения в вопросах поэтики, где одной из очередных проблем стоит вопрос о соотношении между структурой метро-ритма текста песни и той же структурой в напеве.

Между тем мы видим, что Буров Васька пишет свою „песнь смертника" в метро-ритмическом отношении точь-вточь также, как написан романс „ямщик, не гони лошадей",—пользуясь для этого напевом последнего.

Васька Буров не выдумывал никаких графических знаков для того, чтобы показать, как должна исполняться песня (в его вещах этого и не требуется), но совершенно непосредственно он чувствует, что речь человека в говоре и в напеве — два явления одного и того же порядка, что принцип речи и принцип музыки один и тот же.

Необходимо отметить у блатных и их творческую изобретательность—давать прозвища. Так в уже отмеченной выше

записи мы находим—„Петька парикмахер“; там же имеется и другая запись:

„26 мая
сюрган
уѣхал в Россию прошай
Товариш“.

Рабочий И. объясняет мне: „парикмахер“—может он был парикмахером раньше, а вернее, что он „ловко брел“—(ловко обкрадывал, грабил); „сюрган“—от серьга—замок,—значит работал ловко „по замкам“, бывают прозвища по телосложению: „сахатый„, „Васька брус“, здоровый, как брусок; „Курёнок“ (см. приложение, письмо).

Прозвища блатных—это их псевдонимы.

Уместен ли данный материал на страницах этнографического журнала.

У нас до сих пор мало отдавали внимания городу, стремились охватить деревню и особенно „медвежьи углы“, наименее затронутые культурой.

И совершенно незаслуженно игнорировали значительные профессиональные группы, которые сумели в ряду веков своеобразно реагировать на вызовы социальной обстановки, выработали свое мировоззрение и свои приёмы противодействия на буржуазно-экономическом фронте.

Взяв темой—„блатную поэзию“—я беру в поле зрения—кусок городского быта,—кусок, который должен интересовать общество не только с точки зрения безопасности и выработки и усовершенствования приемов изоляции преступника, а главным образом под углом проникновения в интимную сферу его жизни и психики в целях организации культурной борьбы за приобщение личности к обществу... Этот вопрос не безразличен и для самого преступника, и он пробует его понять и разрешить, он говорит:

„Природа старается сделать
человека счастливым
преступления и несчастья—
результат скверного социального устройства и частной собственности“.

(Надпись на стене одиночки Иргубизолятора 1 этаж).

„Отчево был приступный мир,
как он создавался,—
людям ни хватала,
а шикнуть—нада“...

(Рабочий В. И. И-ов, Иркутск).

А вот говорит песня:

Я долго по свету скитался
и много видел я людей,
но надоела эта доля,—
зависть брала на богачей.

(Материалы—33).

Все эти три мнения—заключенных и рабочего—по смысловому мотиву тождественны. И те и он ставят один и тот же диагноз и одно и то же лечение—коренное социальное переустройство. Но поставить преступника в условия социальной невозможности преступных деяний, мы пока еще не можем; мы еще не дожили до такого социально-общественного устройства. Мы принуждены вести культурно-просветительную борьбу, и не для кого не секрет, что в наиболее опасных участках фронта она ведется у нас неудовлетворительно, и одной из главных причин этих неудач нужно признать недостаточную изученность объекта. А там, где—хотя-бы случайно—эта борьба попадала на верный путь,—результаты получались неожиданные.

(См. „Улица и шпана" ст. Цехновицера; Сов. Искусство, № 2, 1926).

Вот почему мы должны изучать блатное творчество.

Мы должны знать подлинное лицо города—это для нас небезинтересно во многих отношениях.

И если мы изучаем быт, то быт „блатных" не может интересовать нас в меньшей степени[1], а стало-быть это должно относиться к обязанностям этнографии.

Оригинальность и непосредственность оформления быта в их творчестве может показать только новые приёмы в овладении материалом. Таким образом, творчество „блатных" не безразлично и для поэтики.

Как бытует „блатная поэзия", красноречиво говорят следующие факты: я начал записи от С., служащего склада военно-технического имущества СВО. Он мне указал на знатока Р-ва, железнодорожного рабочего. Член Рабпроса К. кое что сообщил и познакомил меня с своим родственником—рабочим понтона И-вым: далее сбор материала шел через заключенных Иргубизолятора.

[1] См. „К вопросу о добывании и обработке музыкальной руды"—Вяч. Пасхалова и „Песни улицы"—Мариан Коваля. Музыка и Октябрь, № 3, 1926, стр. 21.

Частушки бывают разные, а потому есть и хулиганские: в данном случае хулиганские частушки очень полезны; они показывают, как „блатное художество“ идет в массы:

Я атчайная башка,
ни хажу бис шпаирка̀,
миня на кичи ажидают,—
шьют рубашку из мишка.

Мне милашка изменила
а я духом ни упал:
на вичорки прикакошил—
сам на кичу жить попал.

(Забайкалье, Хилок, лето, 1925 г.).

Поют везде, поют на весь свет, сколько голосу хватит.

Частушка говорит, что хулиганы близки к блатным, т. к. они оперируют жаргоном: но они близки и вообще с молодежью, и там имеют своих друзей.

Хулиган это—средина: правую руку он подаёт „ блатному“,—левую обыкновенному массовику.

Так „блатное творчество“ через хулигана идет в массы.

Но это не единственный путь.

Рабочий понтона с сожалением говорил мне, что если-бы сейчас был здесь его родственник, шурин—знаменитый „блатной“, то мы бы достали кучу материала.

Есть, конечно, бывшие „блатные“ сейчас на производстве и среди молодежи.

Словом, „блатной“—член того же общества, к которому принадлежим мы все; он не зверь и не птица, и это еще более обязывает нас видеть его насквозь.

Творческие достижения блатного языка неминуемо будут просасываться в народный говор, и то, что окажется пригодным для нашего дня,—будет применено и использовано.

Не знаю, чем привлекает блатной язык, но „нужно все же признать“, что в языке рабочего и служащего—много блатных слов,—слов крепко вошедших в его лексикон; в своей среде упорно говорят—хибарка, хаза, сара, сармак, кичеван, шмара, маруха, застопорил, курва, срубил, ширмач, грубой, манатки, мент, застрёмил и т. д.

Комсомолец из окна вагона кричит своим: „ребята, вон на площадке „ш м а р а“ стоит.

(Ст. Иркутск, апрель, 1926 г.).

Рабочий вагонного цеха лежит под вагоном на ремонте,—знакомый, спрашиваю шутя: „бока пролёживаш?“—отвечает: „ничево сара течёт,—деньги идут“.

В избушке понтона (Иркутск) надпись на станкé точила:

Петька
парикмахер
Здесь кимáрил

Ответработник говорит: „заскочй ко мне“; преподаватель университета в шахматной игре:—„мой офицер застóпорился“...

Проник жаргон и в научно-популярную литературу: „октябрьский переворот временно застопорил русскую киноиндустрию“.

(Ст. В. Перцова. Кино как искусство. „Советское искусство“ № 2, 1926).

Художественная литература охотно пользуется как жаргоном так и бытом блатных.

„Конец хазы“—В. Каверина.
„Блатные рассказы“ Ис. Гольдберга.
(Сиб. Огни, № 1—2. 1926).

Нужно признать, что все блатные слова обладают определенной силой ударности; они экспрессивны и выразительны,—они положительно портретны.

Это первое качество, обеспечивающее блатному слову жизнь.

„Винта нарезал“... „па тихухи“

Другая сторона—их новизна и необычность. Мы должны согласиться, что всякая не строго деловая речь—строится по линии принципиальных требований искусства. Речь должна быть эффектна; всякая неуклюжесть, всякий шаблон молчаливо или открыто осмеиваются; и кто хотя раз слушал непринужденную речь рабочих, тот знает, что их своеобразная речь изыскана. И эти изыскания прежде всего касаются дифференциации словарного материала. Введение блатного слова дает отклонение от обычного, и выражение—„винта нарезал“ вместо „сбежал“—не только поражает своей новизной, но и производить прямо „чувственное впечатление“.

Таков результат расшаблонирования речи, и живой язык непринужденных словесных соревнований этот принцип искусства всегда учитывает.

Вот почему еще блатное слово идет в живой язык...

Материалы*.

(Под яблачка).

1. Как учился я нырять
па перваму разу,—
атначил я серьгу,
асталса без глазу.

2. Не умеешь ты фтыкать,
так и ни бирися,—
приезжай к нам в Адессу
у нас паучися.

3. Ночка тёмна,
я—блатую,—.
гад за мною,
я плитую.

4. Мы на дела рас пашли,
на нём завалилис
и прагулку палучили,—
в кичи ачутилис.

5. Когда канал я с дела,
Падгорнай[1] плитавал,—
к Маруськи завернулса
и всю сару атдал.

6. Мы на лотке плывём
с ружьям и сетями,
а на стопарку берём
фраероф з деньгами.

7. На макруху идём
—бодра и смела,—
всех мы в мокрую
кладём,
штоп скрыть эта дела.

8. На прихватку идём—
мы с аднем перами,
с фраирофф рубим мы
обручи з баками.

9. Вот пришол делодава-
тель—
дела грубое давать,
а мы ему не веря,
нада нам шныря паслать

10. Милай мой,—
ширмач блатной,—
я твая фартофшица.,
на бану приёмщица.

11. Мы не дарам уголоф-
ка,—
на шеснатцатым пасту,—
мы па фсей кичи го-
лофка,
ни уважим никаму.

12. В ыркуцки толька слышна
аграбили, убили,
живова человека фпат-
полья пасадили,
а если нет патполья,
верёфкам вас павяжут—
и сидеть смирна прикажут.

13. На горе на хаски
там делили сарку,
зделали дербанку.

14. Таварищ, на неби луна,—
пасматри-ка в ыркуцки
лигавых пално.

15. Таварищ! вот старший идёт
ручныя нажныя аковы несёт
я выну перо,—
остро вонжу ему в груть
са сваими блатными.

---

* Материалы, полученные мной в записанном виде, воспроизводятся в интерпретации подлинников, с сохранением даже строчного распределения.

№№ 1—22 записаны рабочим, городской переправы *В. И.*; №№ 23—29, служащим склада военно-технич. Им-ва С.В.О., С-вым.

[1] Улица в Иркутске того же характера, что и Сарайная (см. стр. 71).

16. С тринатцать лет
па ширми стал нырять,
с семнатцать лет
са шпайкой на сто-
парки
начал втыкать.

17. Скакнул на дело я с
братвою
папал милиции апхот—
лишь беспрерывнаю
стрельбою
я уканал от ихних рук.

18. Я на кичи сижу пол-
прагулки,
сряду с воли ксивы
получаю,
новости все знаю.

19. Па шестой салдацкой
канали ребята,
за ними сыскная:
— держи народ варнацкой!
ребята не срабели,
и шпайки заблестели—
сыскная испугалась
и разбежалась.

20. Иду на дела я са
шпайкай,
встречаю фраера в даму,
ево я дергаю в
глухую,—
срубил рыжее ево
скамью.

21. Атправляюс я в путь,
в кашофки разъежжаю
на лашадке вороной
петлю в фраира мечу я
и тену ево с собой;
в кошеве ево шманаю,
выбрасываю далой.

22. Нам дела грубое дали,
мы двинулис толпой,
стрёму паставили сами,
скакнули в дом.
В патполье пасадили,
за дела принялис,
манатки пасвязали
на ползник падалис

Лето 1926. Иркутск.

23. Какой жа ты мальчишка,
какой жа ты блатной,—
голубей варуиш
и хочешь жить са мной.

24. Ширмач блатует,
а я на стрёме,—
ширмач на кичи,
а я на воле.

25. Аднажды мы маржаны
срубили чемаданы,
мента за нами
и все са шпаерами—
ребятки не срабели
шпайки заблестели
выстрелы раздалис
и менты аб.....сь

26. Аднажды на Салдацкой
аграбили, убили,
а сами на лашадак—
— держи! — не тут-та была.

Лето 1925. Иркутск—Звездочка.

(На мотив Чардаш).

27.* Смотрите, ребята,—
вот Лаптев идёт.
О горе нам будет
когда заметет—
пускай заметает,
а я не боюсь
у меня шпайка вячет
и я отошьюсь.

28. Смотрите ребята
вон Ситников идёт
о горе нам будет

* №№ 27—29 записаны заключенным А. в Иргубизоляторе.

как нас он з а м е т е т
пускай з а м е т а е т
а я не боюсь
у меня с а р к а в я ч е т
и я откуплюсь.

(Марта 1926.).

I.

29. В Петрограде я родился,
и вырос я в кругу своих
и воровать я научился
у приятелей своих

II.

Все родныя мои тети,
все утешилися мной
отдали грамоте учиться
что-б вышел мальчик не
плохой.

III.

Но мне ученье не далося
и я с ученья п л и т о в а л
мне жизни новой захо-
телось
и я начал воровать...

IV.

Днем ходил я по трущобам,
а ночью шел я воровать
брал я ф о м к у, ш п а й к у
в руки
и шел с к а ч к и искать.

V.

И вот минуло мне шесть-
надцать,
тогда и умер мой отец
ни стал я матери бояться,
и стал я форменный подлец.

VI.

Стал по трактирам часто
шляться,
и стал я девочек любить,
и воровать я научился,
и пошел по тюрьмам
ш и т ь.

VII.

Первый строк сидел
немного,
четыре месяца всего—
когда я вышел на свободу,
ни стал бояться ни кого...

VIII.

Старший брат мой был
л е г а в ы й
хотел за мною подследить,
но как узнал что я ф а р-
т о в ы й,
боялся близко подходить...

IX.

И вот минуло (21) двад-
цать первый,
меня в солдаты з а м е л и
в солдатах стало трудно
нашел дорожку как уйти...

X.

И вот приехал я в Одессу
и там нашел своих друзей,
з а г н а л шинель, мундир
фуражку,
купил себе вольный пин-
жачек.

XI.

Ни чая вечера дождался
и взял я в руки долото
в чужую х а з у я забрался
без шуму выставил окно...

XII.

Б о л д о х а спал и тут
проснулса
он с т е р в а запер ворота
от куда два м е н т а воз-
мися
меня связали молодца...
Вот привели меня в уча-
сток,
где дело пристав разбирал
и как узнал что я военный
на Губ Вахту отослал.
Конец...

(Записал, заключенный Ирк. Изолятора
Март 1926 г.).

30. Все радныя меня любили боловались на домной
учится в школу отдавали чтоб вышел мальчик не плохой.
А как исполнилось двенатцать
я помню помер мой отец
не стал я матири боятся
и стал я уличный беглец
водку пить варовать научился
стал по тюрмам жить
первый срок сидел не долго
читыре месяца всего
когда я вышел на свободу
то не боялся не каго
имел ключи имел отмычки
имел я финское перо
Не боялся ни скем я стычки
убить зарезать хуть-бы что
а старший брат был легавый
хотел замною под следить
а ну узнал с кем я знакомый
боялся блиско подходить
а как сравнялся дватцать первый
меня в солдаты забрили
служба моя была тяжоло
я выбрал дрошку [дорожку] и ушол
приежжаю я в Одесу
кружак товарищей сваей
шинель казенную я продал
купил я рваный пенджачек.
Не стал зари я дожидатся
и в шырму сунул долото
в чужую хазу я забрался
не шумно выставил окно.
А фраер спал и вдрук проснулся
и мигом запер ворота
от куда взялися два мента
связали меня молодца
и за побег за лом квартиры
я на шесть лет в тюрму попал
звонит звонок от мирового
а мировой судит не стал
и он узнал что я военный

отправил меня в требунал.
А в требунале суд не лехкий
отправляют в Сахалин
прощай прощай моя Одесса
я уежаю в Сахалин.

Конец.

(Записана Р—ым) лето 1925 г.
Иркутск—Звездочка).

31. Блатная песня.

Когда легковерен и молод я был,
младую девченку безумно любил.
Но с ней распростится поехал в Одес
свои пустые карманы набить по полней.

Иду я рас па парку
где был намечен с к о к
А дай рыскну для ф а р т у,
найдули в нем толк
нагнулся, я нагнулся
смотрю замочка щель
и лиш одна минута,—
была открыто дверь.
Вашол в адну я спальну,
где мог всего найти
и слышу чейто голос
как мог сюда зайти
рванулся я рванулся
хател я с п л е т о в а т ь
два м е н т а и б а л т у х а
давай меня вязать
не удалось мальчишка
не удалось тебе
за это приступление
ты должен быть в тюрьме.
Видут меня на к и ч у,
а к и ч а высока
гляжу я на свободу,—
свобода долека
пропала вся надежда
пропала вся любовь
весенія ночка осеній скачок

(Р—ов И. И., лето 1925 г.).

32. **Турчанка.**

Кагда ликаверин и молод я был
молодинкую турчанку я страшна любил
я с нею распрастился уехал я от ней
пустые карманы набить по палней.
Приехал я Водесу инструминт мой сабой
две шпайки атмычки и фомочка стальной
иду я рас по главной и вижу стоит скок
эй дай рыскну для фарту небудет ли внем толк
Фомку я заложил в туё отмычну щель
и через минуту была открыта дверь
Чиво там мине нужна всиво там я нашол
ударил я па сидару сам к выходу пашол
я слышу чей то голас так громка пракричал
ты мальчишка скокар зачем сюда попал
я мигам обирнулся и вижу как восне
за ета приступлеие сидет буду в тюрме
видут миня на кичу, а кича высока
спомню я про турчанку—турчанка не моя
Реште мое серце и пейте мою кров
пропала турчанка и с ней моя любов.

(Записал заключенный—И. Иргубизолятор март 1926 г.).

33. Кругом темно все потемнело
и спит Москва во мгле ночной
уныло песенку заводит
в тюрьме преступник молодой.
Мне быть преступником с рожденья
сама назначила судьба
я был торговец был офеней,
и торговал я завсегда.
я долго по свету скитался
и много видел я людей,
но надоела эта доля—
зависть брала на богачей.
Я урожденец Нижгороцскій
и с Малиновки села
сюда в Москву я к вам приехал
нажить денжонок без труда.
Живу я день, живу неделю
а денег нету ни гроша
Четвереков купец богатый
к нему нанялся в кучера...

Живу я день живу и месяц
задумал д е л о совершить
беру топор и острой ножик
иду хозяина убить.
Прошел я двор зашел я в спальню
Четвереков сидел один
перед омною на коленех
стоял богатый господин.
Убей меня возми все злато
Возми мою ты всю казну
не тронь детей ты малолеток
не тронь красавицу жену.
Но вот топор змеею звился
а ножик дело совершил
и всю семью я перерезал
и много злата захватил
кругом темно все потемнело
и спит Москва во мгле ночной
а в у г о л о в к е № номер 8
сидел преступник молодой.

(Запись сделана в Ирк. Губ. Изоляторе—заключенным; март 1926).

34. Все кругом все потемнело
спит Иркутск в тиши ночной
иду сотвагою на д е л о
беру п е р о н о м е р в о с ь м о й.

Иду по улице я смело
ищу добычи роковой
и сердце злобою вскипело
что пропадает з о р и к м о й

И тут я ф р а и р а встречаю
и в миг его я з г о р т о в а л
руку в ш и р м у запускаю
ш м е л ь огромный я достал.

С насложднием считаю
п о к у п к у чудную свою
Тут экипаж я нанимаю
и еду к милочке своей

Приежаю я на х а з к у
на груд бросается ко мне
но тут мы пили и кутили
я не жалел своих х р у с т о в.

Девицы пили и гуляли
я с ними делал что хотел
Тут неожиданная встреча
г а д меня за руку схватил.
Привели меня в сыскную
сам себя я защищал
В преступлении не сознался
на к и ч у мрачну жить попал.
К и ч а мрачная большая
приходи. милка ко мне
навищай хоть раз, в неделю
чтоб не скучно было мне.
Прощай люба до свиданья
ш м е л ь огромный погубил
за него я дорогая
п о л п р о г у л к и получил.

И. (Записано им же); май 1926 г.

35. **Любовь ш и р м а ч а.**

Любовь ш и р м а ч а, как огонь горяча,
а проститутка, как лед холодна...
Оба сошлися они наподбор,—
она—проститутка,—
а он—карманный вор.
Вот—утро приходит,
он о краже хлопочет,
она на кровате
лежит да хохочет
И вот—завалился, в л е г а в у ю ведут...
Её—проститутку—товарищи ждут...
Ведут его на к и ч у, а к и ч а высока,
стоит моя м о р у х а и руки под бока.
В Централ меня погонят
дорожкой столбовой
имею я д и к а н к у
мальчишка молодой.

(Записана заключенным Иркутского Изолятора; март 1926 г.).

36. **К а р м а н ш и к.**

Приходи ты на б а н я там буду
любовatся твоей красотой
и па ш и р м и старатся я буду

добывать тибе, детка, пакой.
Приходи же вжилане згараю
толька видить тибя на б а н у.
Тарапливо я п о р т пакупаю
и у ф р а и р а режу с к у л у.
Б а р а х л о м и р ы ж ё м разадену
эгалавы и данок я тибя
ч и р т а г о н ь ч и к на шею павешу
с п а в у т и н о й тибе я шутя.
А на тонкия нежныя г р а п к и
а б р у́ ч о к я тибе принису,
дарагия насить будиш шляпки—
абажаю тваю красату.

(*Записана заключенным Иризолятора И. Ш.; март 1926*).

37. **К а р м а́ н ь ш и к.**

Приходи ты на б а н, где варуют,—
ф р а е р о ф завлекать красотой,
а я буду н ы р я т ь в а г р у б у ю
дабывать тебе, крошка, пакой.

Вы повертьи, друзья дарагия,
шта вить женьшины изменьщицы нам,
и для етава мы созданыя,
шта́бы нас прадавали к а б л а́ м.

Спомни-ка, милая Тамара,
кагда ты в шантани была,—
за цветы, брилианты, наряды
ты кутилам себя продала.

(*Записана от Р—ва И.; июль 1925 г. Иркутск – Звездочка*).

38. Не спитца мне не лежится
и сон миня ни бирёт,—
Приди же ка мне дарагая
и успакой миня.

Ни рас я прихадила
х тюремным воротам,—
все камиры были закрыты,
и стража на чисах.

Еслиб ты хатела
ка мне бы ты пришла
сестрою бы ты назвалася

и справачку взила
(не удалось установить).

. . . . . .

. . . . . .

все камеры были открыты,
и стража вся блатна.
Ты думаишь Маруся
шта здесь я прападу
бох дас жа я выйду на волю
за фсё я атамщу
Ручки ножки паламаю
перо ва бок ваткну
тибя я в магилу атправлю
а сам назат в тюрьму.

(Забайкалье—Хилок; лето 1925 г.)

39. В пересыльным бальшим замки
два преступничка сидят,
они молоды собою про свободу говорят.
А я с ними распростился
спонту, еду я домой
заезжаю на Сарайную[1]
думал там найду покой.
заказал я пару пива,
полбутылочку вина,—
сидит Тамара на парах
и изменилас из лица.
Будет, тварь, тебе ламатся,
раздевайся пайдем спать,—
утром рано на разцвете
будеш выручку считать.
Долго, долго она ломалас,
отказатся не могла,
знать она вора полюбила
за любов с ним спать пошла.
Отворяет дверь тайнýю,
там два шулера сидят,—
один мечит под ботинки,
другой мечит под пиджак.
Проигрался весь до нитки,
пошел к милки занимать,
а она над нем хохочет,
посылает воровать.

[1] Улица в Иркутске, где были расположены „веселые дома".

Ни ходи ты, милый, к яру,
много денег не теряй,
ты купи сибе г и т а р у
и иди замки ломай...
Вы скажите моей ж а б е,
что опять я п о д з а ш е л,
на 2 года с половиной
я особых прав лишен.
Нет ни сахару, ни чаю;—
я на п а́ й к и прасижу,
если выйду на свободу,
своей ж а б е отомщу
поломаю руки ноги
набок голову сверну
в Кузнецовскую[1] отправлю
сам на к и ч у жить пайду.

(Запись получена через Р—ва И. И.;
июль 1925, Иркутск—Звездочка)

40. Тихо и мрачно в тюремной больнице,
сумрачный день сквозь решотки гледит,
и перед дочерью бледной и хилой
мать её с плачем старушка стоит.
Дочька её там Тамара лежала
в тяжком бреду и в глубоких слезах
с грудью пробитой, бесвязно болтая,—
череп проломленый, глаз не видать
чуть пробудилась от бреда очнулась
пить попросила, увидела мать
и протянула худыя рученки
что бы обнять престарелую мать.
А матери слезы рекой покатились
все орошило лицо её грудь
полно родная не плачь ты так сильно
Дочьку Тамару свою позабудь
ох мама ты, мама моя родная
эта—последняя просьба моя:
если увидишь его на свободе,
то передай—за его умерла.
мы п о г о р е л и с ним на м о к р у х е
он п о г о р е л, п о г о р е л а и я
он п л и т о в а л, а меня задержали
и в жандармскую меня привели.

[1] Кузнецовская больница—в Иркутске.

Долго допрашивал начальник с наганом
с кем я в то время на деле была,—
а я отвечала—гордо и смело:
эта *душевная тайна моя.*

(Запись получена через заключенного
Б—ва С.; Иризолятор, март 1926 г.)

Гоп со смыком.

41. На Подоле жил там Гоп со смыком,
он славился своим басистым криком.
Глотку он имел здорову
и ревел он как корова
и врагов имел он сто со смыком.
Гоп со смыком буду я,
вы послушайте друзья,
ремесло я выбрал кражу
из тюрьмы я не вылажу
и тюрьма скучает без меня.
Сколько бы в тюрьме я не сидел,
нет той минуты чтоб я не пел
заложивши руки в брюки
и хожу пою от скуки
что же будешь делать коль засел.
А как из тюрьмы выйдеш
то халтуру удиш
что в тюрьме сидел то все забудеш
быстро схватиш карты в руки,
полчаса не носиш брюки,
если не везет, что делать будеш!?
Остался бос и гол,
тут нужно пить и пить
в бутылке свое горе утопить
наливаеш больше стопку
заливаеш чем-то глотку
тут уж начинаеш пить и пить.
И так беспрерывно пьеш и пьеш
гражданам проходу не даеш,
по трамваям ты летаеш
рысаков перегоняеш
и без фонарей домой не идеш.
Фонарь носить мне вовсе ведь не страшно,
он такой большой, как будто бы накрашен
ни достоин ты бандита,
если рожа не побита,—

так у нас уж заведено.
Гоп со смыком я родился
им и сдохну.
Перед смертью даже я не охну,
мне бы только не забыться,
перед смертью похмелиться,
я ведь там как мумия засохну
а если не похмелят меня в Аде
не дам проходу даже сатане,
где нибудь я кол достану,
чертенят дубасить стану
почему нет водки на луне.
Жариться я буду как гусенок,
в котле буду кипеть, как поросенок.
Жарить будут на сковородке,
чтоб не пил по многу водки
пикою будет колоть меня чертенок.
Но так как я играю и пою,
то буду жить наверно я в раю,
где живут одни святые
пьют бокалы налитые,
я такой что выпить не люблю.
В раю я ночью выйду на работу
возьму я в руки фомку и мешок
и на бога на тихую,
околечу на слепую
я на много бога не обижу.
Дай нам бог иметь что бог имеет,
мертвый так напиться не сумеет,
слитки золота карпетки,
где ни взглянь висят караты
я бога околечу окоратно [окуратно]
на землю к вам вернуся я обратно
деньги превращу в караты,
человек буду богатый,
на игру смотреть буду халатно.
А если проиграюсь,
то воровать не буду,
а буду умирать,
на том свете веселее,
набивай карман полнее,
если вы не верите,
то можете слетать.
Кодексов там совсем не существует,
кому не лень, тот день и ночь ворует,

магазины, лавки, банки—
все открыты для приманки...
о ворах там вовсе не толкуют...
Иван, Предтеча там без головы,
имеет свою фабрику халвы,—
не смотри, что безголовый,
парень хоть куда фартовый
а глазища точно у совы.
Иуда Искариотский там живет
он вместе со святыми там—
и скрягою слывет...
Гоп со смыком я не буду,
поколечу я Иуду,—
знаю, где червонцы он кладет.
А если вы на небе подзайдете
то прямо там под плюхи попадете
кольями будут дубасить,
фонарями изукрасят
и на землю больше не вернетесь.
Уркам там живется хорошо,
легавых там нет ни одного,
на том свете так живется,
без претырки все бирется
место только там не шухарите.

(Записана заключенным
Иргубизолятора. Март 1926)

Одиночка 52.

Черных И. П.

По 184—2 ч. Верхсуд
утвердил — помилование тоже —
за друга Гришку Середкина
е . . . . го придется погибнуть

$19\frac{15}{VIII}25$

И. П. Черных Буров Васька
смертник 1925

(надпись на двери).

42. И. П. Черных.
Жизнь для нас
один лишь час
смерть последняя

в ней шутка
поцелуй в последний раз
и прощай навек малютка
И. Черных.

43. Помилование.
Помилуйте меня
клянусь пред гробом Ильича
что я случайный ведь преступник
и даю слово бедняка
что я исправлюся как блудник
помилуйте меня
В теченьи срока своево
исправлю все что сделал прежде
только спасите от того
чтоб не идти мне на разсвете
туда где жизнь кончает час
прости свобода дорогая

Буров. $19\frac{14}{VIII}25$ И. П. Черных.

(Записана металлическим острием на стене по масляной краске).

44. **Песнь смертника.**

На мотив—ямщик не гони лошадей.

Так грустно томительный день
не лучше бывает и ночь
хотелось бы все изменить
но не в силах теперь я помочь.
Уж поздно теперь не вернеш
прощайте мечты и покой
загробная жизнь принемай
соседом я буду твоим.
В тюрьме в одиночке сижу
сочтены сейчас мои дни
но прошлое уже не вернеш
мечты лишь остались одни.
Уж поздно теперь не вернеш
прощайте мечты и покой
загробная жизнь принемай
соседом я буду твоим.
Что день то все ближе подвал
куда ни один лишь попал

а туда кто попал тот пропал
и меня ожидает подвал.
Припев тот же.
А жизнь это просто кошмар
Где нужно нам все испытать
впоследствии скверно одно
от руки палача умереть.
Припев тот же.
Когда же когда поведут
в этот проклятый подвал
уста у других скажут вслед
недавно что жил и уж нет.
Припев.
Что было промчалось как сон
уж очень то был он хорош
по мнению старых воров
цена уж не ломаный грош.
Уж поздно теперь не вернеш
прощайте мечты и покой
загробная жизнь принемай
соседом я буду с тобой.

Конец 1925
Буров.

Зайдеш сюда
не грусти, а
уйдеш не радуйся.
Середкин ловко
меня подвел несколь
кими словами я
лешаюсь жизни

Ванька Черных
1925 10 июля.

арестова $1/\frac{VII}{21}$ сижу 13 й м-ц и все еще следственный человек конюхов $6/\frac{VII}{22}$

45. **Песнь налетчика**

Ах прошли лета молодые,
что не слушался добрых родных
рано, рано я с ними простился
далеко я уехал от них.

Посещал я трактиры бильярды
часта часта я в карты играл
грабижи я творил безпощады
и чужия пожитки сбирал.

Но порою свершал и убийства
часта часта л и г а в ы х стрелял
но теперь я наказан судьбою
что от выстрела сам пострадал

Вот лижу я теперь в лазарете
вынимают мне пулю згруди
каждый смотрит с каким то презренем
что налетчик я был на пути

А теперь я сижу в адиночки
два уш года в ней я томлюсь
но вот скоро я выйду на волю
и тогда всем им б л и д я м отомщу.
. . . . . Конец 1925 21/VIII

Буров В.

(Правая стена, запись острием).

Убил я случайно
даю слово перед
гробом Ильича что я
случайный преступник
и даю слово перед рес
публикой исправить
свою ошибку в ме
сечный срок.

Одиночка 64.

46. Товарищи наш святой
долг чтобы дать воспоминания
друзьям
то мстит безпощадно
б л и д я м кто остается
жить тот должен всегда
запомнить.

(Записано на стене).

47. Здесь товарищ погиб
жить ему было невмоч
труп его свежий зарыт
в ту же зловещую ночь

С другом надежным сойдис
и остро п е р о отточи
и мсти за друзей беспощадно
мсти за погибших в ночи.

(Написано на двери).

Приложение.

(Письмо блатного в Иргубизолятор)

Здравствуй друг Ильюша
шлю я тебе свой сердечный
привет и наилучших пожеланий
друг Ильюша уведомляю
тебя в том что *дела*
очень плохия уже два раза
г о р е л один раз с д е л о м
ждать нет ни какой во
зможности на днях думаю
уехать хлопочу документы
Ильюша скажи Миши
Г . . . у что шинель я
ему бы принес но мне
ее здорово порвали
хотел ему *купить*
фуфайку но никак не
могу собрать ся с понеде
льника не куда не хожу
начал хлопотать к с и в ы
друг Ильюш передай
привет Саши Д . . . у
и скажи ему что я уеду
здесь жить невозможно
бегаю с м у ж и к о м п о д о м о в о й
на б а н ходить нельзя
я все время как уеду буду
писать вам письма где
я нахожусь был сего дни
в суди думал кого нибуть
увижу хотел вам послать
с Мишкой хотя папирос
но никаго нивидел видел
одного Ст. над. К . . . . . а
он приходил судится

затем Ильюша передай
Сашки что я наверно
уеду в Свѐрдловск и
там буду ждать
его
я вам буду писать
затем писать больше
некогда остаюсь ваш
друг . . . . . (неразборчиво)
И . . . . .
Ильюша извини если
дела будут плохия не
приду
. . . . . .

(Копия снята в Иргубизоляторе апрель 1926 г.)

Подписи и фамилии заменены точками.

В деле собирания блатного материала приношу искреннюю благодарность Инспектору мест заключения тов. Борсунову, нач. Иргубизолятора тов. Сатонину, его пом. тов. Яхину и зав. учебно-воспитательной частью тов. Козлову и Товию Семеновичу Мошковичу за любезное предоставление литературы из кабинета Уголовного Права Хозправфака Иргосуна, а также всем, оказавшим мне в этой работе помощь и поддержку.

Словарь * блатного жаргона.

Атначи́ть, атначи́л — отпереть, открыть.
Абручо́к (обручок)—колечко.

Бадя́га—водка.

Байстрю́к—отрок.
Баки, бака́—карманные часы.

Балту́ха, болдо́ха — квартирохозяин, потерпевший простак.
Бан—вокзал.
Барахло́—материи, шелка, ткани.
Баярку караулить (пашол)—на расстрел (повели).

Без претырки — без помощников, без предосторожностей.

Беспартя́нок—беспартийный.
Блатной —преступный.
Блатова́ть — делать преступления с целью грабежа.
Блядь — так называют предателя по аналогии с проституткой, которая всегда изменит. Самое тяжелое оскорбление для блатного, когда к нему обращаются как к женщине.
Братва́—друзья, товарищи.
Буксова́ть—бить.
Булы́жник—дождевик.

Бу́сай, бусо́й, бус—пьяный.

В глухую дёрнуть—насмерть застрелить.
Винта́ нарезал—убежал.
Винт—„браунк", вообще револьвер.

Вирхату́ра—верхняя одежда.
Втыкать—делать воровское дело.
Втыкач—то же, что блатной.

Вы́шка—высшая мера наказания, расстрел.

Вя́чет—есть, имеется.
Гад—сыщик, агент уголовного розыска.
Головка—главари.
Голуби—белье.
Гоп со смыком—(не установлено)
Гореть—попасться в преступлении.
Го́рка—расстрел (на горе).

Городу́шник—вор магазинный.
Гра́пки—ручки, пальчики.

Гру́ба—ценность большая.
Грубо́й—хороший, дорогой.

Дело—воровская работа.
Дело грубое—дело богатое.
Делодава́тель—см. наводчик. По закону блатных, получает две доли из награбленного; этого закона никто не преступает. Наводчика ценят и дорожат им.
Дело дал — запутал, подвел, как преступника, иногда по злобе—невинного (я себе спокойно дома спал, а он мне „дела дал").
Дерба́нка—делёж.
Дёргаю—стреляю.
Дёрнули—расстреляли.
Дикн—десять
Дика́нка—десять лет каторги.

Домоу́шник—вор по домам.

Жаба—коварная женщина.
Жиган—то же, что блатной.
Жлоб, жлоби́на—так звали жандармов.

Завали́ться—попасться на „деле".
Загна́ть—продать, пропить.
Замести—захватить, забрать.
За монгольские яйца с мокрухой—?
Застрёмить—заметить.
Застрёмят—увидят.
За сухари (сидит)—невинно пострадал.
Засыпаться—попасться, проговориться по „делу".

*) Словарь составлен не только из тех слов, которые имеются в материалах, но и тех, которые я записал во время сбора блатной поэзии; объяснения исключительно тех лиц, от которых материалы и слова записаны (кроме слов стенописей).

Зго́ртова́л—„забрал в свои руки".

За́тить—„смотреть в о́ба, в полтора—не мода", срв. у М. Скуратова в расск. „Котёл". Зе́па́ть — кричать: „И горластая птица зе́пала на весь околодок". Также в Забайкалье: гэпать, гэпнуть—стукнуть, ударить (ст. Хилок).
Зо́рик—намеченное „дело"; зоркий, зоренный—высмотренный.

Кана́ть—бежать.
Кап-кап—шпион, предатель.
Карпетки—?
Кима́рить—спать.
Ку́ча—домзак.
Клёвый—см. „фартовый"; иногда—хороший („баба, паря, клева, баба—чо!" Забайк. (Петровский завод).
Кобёл—то же, что „легавый"; „продавали коблам"—выдавали сыску.
Кошёвник—грабитель, ловит прохожих петлями с лошади и обирает в санях.
Крёсный—прокурор, обвинитель.
Ксу́вы—записки, документы.
Купить—украсть.
Курва—то же, что „блядь". Имея в виду мужчину блатного, говорят: „она, курвонка, ездила меня арестовывать".

Лега́вый—шпион, предатель.
Лега́вая („в легавую ведут")—милицейский участок, угрозыск.

Магары́ч—угощение, выпивка.

Макру́ха (мокруха)—убийство с пролитием крови.

Макру́шник—убийца.
Мана́тки—вещи домашние.
„Маржаны" — название блатных по притону-чайнухе „Маржан", на хлебном базаре (Иркутск).
Маруська бороду подвесила"—предала, то же, что „дело дала".

Мару́ха—любовница.
Мельто́н, мент—милиционер.
Метать, ме́чет—кидает на картах..
Монах—четверть водки.
Муда́к—несметливый мужик, простак.

Наводчик—тот, кто указывает (наводит), где можно украсть или ограбить (см. делодаватель).

На слепу́ю—чтобы никто не видал.

На тиху́ю—тихо, без шуму.

Нырять—совершать „дело", воровать.

О́бручи—кольца, браслеты.
Одноде́лец—соучастник преступления.
Коле́чу—обворую.
Отначу́ть— отомкнуть, взломать.
Отошьюсь—отобьюсь.
Ошмана́ть—обобрать, раздеть.

Па́йка—тюремный паёк.
Паутина—цепочка.
Паздуха (на паздухи) — на поезде „чимадан схрустать" и выскочить на полном ходу; поездное воровство.
Перетырь святцы—передай карты.
Перо—кинжал.
„Перо но́мер восьмой"—финский нож, средний размер по фабричному номеру.
Пле́ти купил—убежал.
Плитова́ть—„удирать", бежать.

Плитую с винта — бегу с удара, с выстрела, крутясь.
Погорел—попался на деле.
Подвал [ожидает]—расстрел.
Подзашол—попался.
Поколе́чу—обворую.
Покупка—краденная вещь.
Ползуни́ку собирать — иметь сношение с женщиной.
Помилование утвердил—ВЦИК утвердил расстрел, вынесенный Губсудом.
Порт—портмонэ.
Потихухи—см. на тихую.
Пошол на гору—см. горка.
Приёмщица — принимает краденое на месте воровства—на базаре, в магазинах, на вокзале и т. д.
Прихва́тка—нападение сзади с прихватом за шею левой рукой.
Прогулка—шесть лет тюрьмы; полпрогулки—3 года, четверть—$1^1/_2$ года, „а там дальше ты сам сощиташь".
Продаёт—выдаёт, предаёт.

Работа—воровство, преступное дело вообще.
Раздул пожар — выдал преступление.

Рубить—красть.

Рыжее—золотое.
Рыжём разодену—в золото одену.
Сапоги—кони.
Сáра, сармáк, сармá—деньги.
Свечка—винтовка.
Свой в доску—свой блатной.
Святцы—карты игральные.
Селёдка—шашка, сабля.
Семёрка—браунинг 7-ми зарядный.
Серёжка | **Серьгá** | замóк висячий.
Сúдор—мешок с вещами.

Скакун, скакнуть—вор через окно.
Скачóк, скок — место, квартира, которую удобно обокрасть.
Скамéйка—лошадь.
Скулá—боковой карман.

Скурвился—изменил „блатному делу".

Скуржа—серебро.
Смотался—собрался и утёк.
С мужиком по домовой—ходить в виде мужика-нищего и воровать по домам.
Спóнту—будто-бы, обманным образом.
Срубить—украсть.
Стúрка—карты игральные.
Стерва—падаль (ругательное).
Стóпа с пыткой—см. в тексте, стр. 46.
Стóпорка, стопа—стой! руки вверх...
Стóпорщик—грабитель, практикующий „стопорку".
Стрёма—наблюдение, установленное во время „работы".
Стрёмить—сторожить, наблюдать.
Стрёмщик — выставленный сторожить, чтобы предупредить об опасности.
Стукачú—предатели, шпионы.
Стук-бюро—шпионское объединение в тюрьме, связанное с администрацией.

Стычка—схватка на ножах или револьверах.

Тварь — ругательное название человека-предателя.

Тисýешь—не хочешь, пятишься, идешь на попятную.

Уголóвка—уголовные преступники.
Уголовка (№ 8)—одиночка.
Уголóк—уголовный розыск.
Уканáл—убежал.

Úрки—воришки, мошенники.
Утверждён — Верхсуд и ВЦИК утвердили расстрел.

Фартóвый—см. „блатной".
Фартóвщица—помощница вора.
Фарт—удача легкой наживы.
Финское перó—финский нож.
Фóмка—специальный ломик железный, по обоим концам приспособленный для взломов и дверей.
Фрáер—жертва вора,—гражданин.

„Фрáера не тырь!"—так говорит блатной блатному, когда тот, не зная его, хочет обокрасть,—значит: не обхаживай, не поживишься от своего брата.
Хáза, хаска—дом для сбора преступников.
Халамúда—см. „вирхатура".

Хрýстать—воровать.

Хрусты—ворованное.
Цинк — голос, крик, — „значит, уж плитуй!".

Чекýшка—револьвер.
Чертогóньчик—крестик.
Чистая жертва — невинно пострадавший.
Чóра—расстрел.
Шáмать, шамаю—есть, ем.
Шестёрка—окурок.
Шúрма—карман.
Ширмáч—карманщик.
Шить—гулять, ходить, бежать. „Пошол по тюрьмам шить".
Шкéры –брюки.
Шманáть—обирать, раздевать.
Шмель—бумажник, портфель.
Шмель сверхов—в верхнем кармане.
Шмель снизов — в нижнем, брючном кармане.
Шнырь—разведчик.
Шпаер, шпайка—револьвер.

Шýхар—шум.

Шýхарить—шуметь, поднять тревогу.

Анна Пруссак.

Из сибирских сказаний о декабристах.

Летом 1914 года я часто бывала в селе Урик, Иркутского уезда, Иркутской губернии. Мне много приходилось беседовать со стариками (главным образом, с Борисом Егоровичем Бородиным) и старухами, помнившими жившего в этом селе декабриста Никиту Михайловича Муравьева и приезжавших к нему гостить его друзей. Воспоминания эти; хотя и очень отрывочны, но все же не лишены некоторого интереса; любопытна и сложившаяся среди местного населения легенда о причине ссылки декабристов в Сибирь.

„У нас помещиков не было—рассказывали мне старики—нас царь декабристам пожаловал. Призывает к себе царь Муравьева, Трубецкого да Волконского и говорит им: „вы вольная порода, так и владеть вам вольными людьми сибирскими, а рассейскими мужиками вам владеть зазорно; расейского мужика барин на легавого пса менял, да и в придачу двух баб давал“.—Так и назначил им царь, чтобы в Сибирь ехать, они и поехали.

Как помещик, жил Н. М. [Муравьев], дворни у них 20 человек было; по праздникам „крестьяна“ к ним на двор придут, молодые которые песни играть начнут, а те им пряников да „ленточков“ нададут. Гневлив был Н. М.; что не по нем, скинет кожаную шапочку „с голову“, да начнёт топать,—„иди ты от меня прочь—скажет—в грех меня не вводи“.—А хороший человек был Н. М. „приветливый, утешливый, и народу же к имя шло, дай бог царство небесное“, он тебе и помочь, он тебе и совет, отказать чтоб—никогда того не было. Не только ребят, мужиков да баб грамоте обучил. Катерина Ивановна [Трубецкая] к ним гостить наезжала. Большую пользу от нее видели, она „лечить понимала“, много помогала, когда летом ребятишки „горлом помирать начали“.

Осип Викторыч [Поджио] у них бывал. Тот ровно „немуха какая был“, все ему по полям ходить,—встретиш, ему поклон, а он ровно бы не видит; а то кинется на землю, да лежит, „а с чево с ним так, никто не знает“. К. И. сядет с ним рядом и начнет с ним „не по русскому разговаривать“, ну он встанет и пойдут вместе домой“.

П. Черных.

К вопросу о лингвистическом атласе Сибири.

В истории всякой науки неизбежны периоды, подобные тому, который в настоящее время переживает языковедение, наука о жизни и развитии человеческого языка,—периоды пересмотра и проверки основных положений и методов. Этот пересмотр в языковедении коснулся в большей или меньшей степени всех отделов науки о языке и всех лингвистических дисциплин. Но едва ли не более, чем другие лингвистические дисциплины, диалектология должна из этого нового крещения выйти освеженной и обновленной: она получила новое значение и новые задачи.

Чтобы понять в существенных чертах новое направление в диалектологии, надо иметь представление об истории этой научной дисциплины. История же диалектологии может быть рассматриваема как процесс постепенного превращения из дисциплины этнографической в дисциплину лингвистическую.

Первоначально, на первых порах своего существования диалектология является *этнографической* дисциплиной, занимающейся описанием и классификацией диалектов (разноречий) какого-либо языка. Диалект (говор, наречие) рассматривается здесь всего только, как одно из отличий (на ряду с другими отличиями в материальной и духовной культуре) известной части населения. *Описание* говора, установление черт сходства и черт различия его с другими говорами, *типология* говора, т.-е. определение диалектического типа, к которому говор принадлежит; *классификация* говоров по наречиям, поднаречиям, группам—вот задачи, которые ставит себе *этнографическая диалектология*. В этом-то направлении и работали первые русские диалектологи от Болховитинова до Даля и его времени с их все возрастающим интересом к русской народной речи. Но конечно, этот интерес еще не является интересом научным. Ведь, наука ставит своей целью не только регистрацию фактов в какой-либо области знания, но и посильное объясне-

ние этих фактов. Этот интерес не является интересом лингвистическим: жизнь и развитие человеческого языка, его устройство и механизм, поскольку они проявляются в жизни и развитии диалекта,—не интересуют этнографа как такового.

Затем, в первой половине прошлого столетия на Западе возникает *сравнительно-историческое* направление в языковедении. „Всякий язык изменяется с течением времени. Поэтому, *научное* изучение человеческого языка невозможно без знания его истории"—вот, в простом выражении, мысль, которая с этого времени направляет лингвистическую работу. В результате упорного труда, благодаря успешному применению сравнительно-исторического метода, языковедам, уже к концу столетия, удается в стройной схеме представить *развитие* одного из языковых семейств—обширной семьи индо-европейских языков,—начиная от индо-европейского праязыка через стадии праязыков: романского, германского, славянского и пр. вплоть до нашего времени. Тот же сравнительно-исторический метод применяется и к изучению отдельных языков в их истории: путем сравнительного изучения современных наречий и говоров известного языка в связи с показаниями письменных памятников этого языка исследователь получает возможность реконструировать разнообразные изменения, пережитые языком и не только за *исторический* период его существования, но и в эпоху *до-историческую* (до появления письменности), начиная от того состояния языка, которое предшествовало образованию современных его наречий (т.-е. от праязыка).

Понятно, какое значение с этого времени получает диалектология: из дисциплины этнографической она превращается в лингвистическую дисциплину, занимающуюся научным изучением современной нам *стадии развития* какого-либо языка. Описание и типология говора и классификация говоров—все это получает новый смысл, новое освещение. Диалект получает теперь значение *живого свидетеля* прошлого языка; исследователь диалекта ставит своей задачей как можно более „вытрясти" из него этих сведений. И чем архаичнее диалект, чем больше он может дать этих сведений,—тем бо́льший интерес он представляет теперь для лингвиста. Отсюда—и точность и тщательность наблюдений, и внимательное отношение к мелким подробностям и оттенкам, особенно в области произношения,—являющиеся характерной чертой диалектологических разысканий этого периода, между прочим, и в России. Здесь в этом направлении работает целое поколение ученых:

Шахматов, Брок, Будде, Дурново, Мансикка, Каринский и др.[1]

В настоящее время, как я уже сказал, в языковедении на Западе намечается новое течение. Может быть, оно и не вылилось еще в формы стройного и цельного движения, но едва ли оно уже не определилось в существенных своих особенностях. Признавая изучение истории человеческого языка по прежнему главной задачей языковедения, представители этого нового течения подчеркивают, однако, необходимость т. н. „статического метода" или статического подхода к языку, необходимость подробного изучения того или иного языка в его временном разрезе в тот или другой момент его существования и при этом не с точки зрения только одной какой-либо из его сторон, напр. звуковой, а с точки зрения, так сказать, всей его организации, всего его сложного механизма, так как всякий язык в каждый момент своего существования является стройной организацией знаков. Все явления языка, все элементы этой организации тесно связаны между собой; разрозненное их изучение, не считающееся с этой особенностью языка.—может оказаться бесплодным. Отсюда—интерес к *живому языку*, литературному и народному, в его процессах и тенденциях. к живому языку—доступному для непосредственного наблюдения; отсюда и напряженное внимание к синтаксису, лексикологии, семантике, т.-е. к наиболее „запущенным" отделам языковедения.

Таким образом, диалектология получает значение еще более важное, чем прежде, и задачи еще более значительные. Как и прежде, диалектология занимается изучением народной речи, но это изучение отличается иным настроением.

В чем же сущность нового направления в диалектологии?

Новое направление исходит (как это ни кажется странно на первый взгляд) из отрицания „диалекта". Диалекта как языковой особи со строго очерченными границами—не существует. Сплошь и рядом особенности одного диалекта оказываются у него общими с особенностями соседних диалектов, а черты различия между ними не одинаково равномерно распределяются на территории того или другого диалекта или охватывают не

[1] Что касается русско-сибирской диалектологии, то ее развитие в существенных чертах, конечно, ничем не отличается от развития русско-европейской диалектологии и может быть рассматриваемо как отражение последнего. Об этом подробнее см. в моей статье: „Итоги и задачи диалектологического изучения Сибири" („Библиотека собирателя", изд. ВСОРГО., № 4. Ирк. 1925).

все слой данного языкового общества. Чем диалект больше, чем обширнее территория его распространения, тем действительнее это правило. Собственно говоря, на практике и всегда диалектологам приходилось считаться с этим положением. Так, напр., в 1915-м году Московской Диалектологической Комиссией издан был „Опыт диалектологической карты русского яз. в Европе“ с приложением „Очерка русской диалектологии“. В „Опыте“ была сделана попытка изобразить распространение в Европе не только русского языка в целом, но и—отдельных русских наречий (великор., малор. и белор.), и *даже*, в пределах каждого наречия,—отдельных диалектических групп. На самом же деле, в этом последнем случае, вместо географии отдельных диалектических групп составителям пришлось (как из „Очерка“ явствует) ограничиться географией отдельных диалектических особенностей (напр., в сев. великор. области—того или иного произношения ѣ, в южно великор. —того или иного произношения неударенных *а, о, е* после мягких согласных и т. д.).

Итак, существуют не диалекты, а существуют отдельные диалектические особенности народного языка как неделимого целого,—особенности, из которых каждая очевидно имеет свою географию (как и свою историю). А отсюда как будто следует, что диалектология вступила бы на более правильный путь, если бы диалектологи вместо географии диалектов, вместо типологии и классификации говоров занялись изучением географии отдельных диалектических особенностей (народного произношения, народной флексии и т. п.). И действительно, в новое время в различных странах, между прочим, и в России, появляется ряд диалектологических исследований, исполненных в этом духе. В России к этого рода исследованиям относится обширная диссертация Д. К. Зеленина „Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненебных согласных“ (Пбрг. 1913), посвященная географии и истории диалектического великорусского произношения мягких *к, г, х* вместо твердых: Ванькя, палочькя, чайкю и т. п.

Но эта простая по существу мысль получила в языковедении дальнейшее углубление и новую разработку. Критика „фонетического закона“ (и стало-быть лингвистического „закона“ вообще) сыграла в этом отношении роль движущей силы. В отношении фонетического закона новое направление в языковедении занимает скептическую позицию. И раньше было известно, что закономерность в изменении звуков речи обыкновенно не носит абсолютного характера, распространяясь не на все слова, произносимые с известным звуком, что эта зако-

номерность постоянно нарушается вследствие аналогии с морфологически родственными словами: поэтому, в русском литературном языке произносят, наприм., „щелка“ с *е*, хотя мы и ожидали бы *о* перед твердым согласным и под ударением (ср., напр.: „плётка“ при „плеть“; „пёк“ при „печь“); аналогия с „щель“ в этих случаях удержала *е* от изменения в *о*. Новое направление подчеркивает, что подобных случаев „исключения“ из фонетического закона может быть гораздо больше, и причины могут быть разнообразны. Напр., в русском литературном (московском) произношении во многих словах сочетание *чн* изменилось в *шн:* „булошник“, „конешно“, „нарошно“, вместе с тем москвичи произносят: „ночной“, „дачный“,—очевидно, по аналогии с:„ночь“, „дача“; но они произносят также: личный, точно“,—и в этом случае объяснение приходится искать уже не в аналогии, а в явлении, т. ск., „гомонимического отталкивания“: *чн* в этих словах удержала от изменения в *шн* ассоциация с „лишний“, с „тошно“. Но в целом ряде слов сохранение *чн* не допускает уже никаких об'яснений, кроме признания, что произношение *шн* вместо *чн* просто-на-просто не распространилось на все слова с сочетанием *чн*: речной, сердечный и пр.

Итак, „фонетический закон“—кроткий закон; он не имеет принудительной силы, он не обязывает звук изменяться во всех словах, где этот звук произносится при одинаковых условиях. Может случиться и так, что в одних говорах этих слов окажется больше, в других—меньше. В одних словах известное изменение встретится чаще, в других—реже. Повидимому, именно так обстоит дело с диалектическим великорусским произношением *е* вместо а (я) между мягкими согласными под ударением. Едва ли не чаще это произношение встречается в таких словах, как: грезь, зеть, кнезь, мечик, петь (пять) и опеть, а реже—в таких, как меть (мять), печеть, пьеница, честь (часть), чейка (чайка). Далеко не всегда подобное явление может быть об'яснено влиянием литературной речи,—в связи со степенью интенсивности влияния литературного языка на народный.

Наконец, вследствие взаимного влияния „диалектов“ и других причин сплошь и рядом оказывается при изучении „диалекта“, что то или другое изменение имеет место только в единичных словах. Напр., во многих сибирских [1] и вообще в великорусских говорах, не знающих (и, повидимому, не знав-

[1] К числу этих говоров относится, между прочим, и говор старожилого населения г. Иркутска.

ших) произношения *е* вм. *а* (я) между мягкими согласными („грезь", „зеть любит взеть"), это произношение имеет, однако, место в слове „опеть", попавшем сюда, очевидно, из говоров с *е* вм. *я*. Приблизительно в этих же говорах на месте старого *ѣ* произносится *и* в единственном слове „исть" или „исти" (ѣсть—кушать). Хотя во всех других словах произносится *е*: лес, месяц, песня, ездить. В этих же говорах не редко произносится *ц* вм. *ч* в единственном слове „цело" (в значении „устья у русской печи"), хотя *ц* и *ч* не смешиваются в этих говорах: цена, месяц, чашка, челядь.

Но из этого рассуждения о „фонетическом законе" не вытекает ли тот естественный вывод, что вместо того, чтобы заниматься изучением отдельных диалектических особенностей народного языка, не осторожнее ли и не целесообразнее ли было бы обратиться к изучению отдельных народных слов, или, точнее говоря,—к географии (и истории) отдельных слов разговорной народной речи? Вот к этому-то выводу и пришла наука о живом народном языке в ее новейшем развитии.

„Диалектов" нет. Не существует и „диалектических особенностей". Есть—с л о в а, известные там и сям, в том или ином виде, с л о в а, употребляемые живым народом в качестве орудия общения и мышления. „Не говоры следует изучать, а отдельные слова по говорам,—отдельные слова, из которых каждое имеет свою географию (как и свою историю)"—вот лозунг, который выдвигает новое лингвистическое направление, новая лингвистическая дисциплина, по выражению Dauzat. „взошедшая на невозделанном поле лексикологии" (96). Понятно. она не может уже называться „диалектологией", наукой о „диалектах". *Лингвистическая география*— вот ее новое имя.

Итак еще раз, какую же цель ставит себе „лингвистическая география"? Посмотрим, как определяют ее задачи французские представители этой науки. По словам Dauzat, „лингвистическая география имеет целью воссоздание истории слов, флексий, синтаксических групп п у т е м и з у ч е н и я и х н ы н е ш н е г о р а с п р е д е л е н и я... Лингвистическая география стремится с помощью географических и социальных критериев, народной психологии, лингвистических документов старых и новых,—найти законы, которыми обусловливаются видоизменения, новообразования, сцепление, путешествие, жизнь и борьба слов" (с 27). Ставя себе эти задачи, лингвистическая география, та-

[1]). A. D a u z a t. La géographie linguistique. Paris. E. Flammarion, editeur. (1922)

ким образом, как бы сливается с историей языка: „история языка", по мнению Dauzat, „является необходимой опорой лингвистической географии: та и другая совершенно солидарны" (с. 43). Так завершает диалектология круг своего развития, окончательно вступая в семью лингвистических дисциплин.

Основателем нового направления в изучении народной речи по справедливости считается J. Gilliéron, инициатор и вдохновитель того лингвистического обследования Франции, в результате которого явился монументальный „Лингвистический атлас Франции" (Atlas linguistique de la France), печатавшийся в течении двенадцати лет (с 1900 по 1912 г.г.) и в настоящее время представляющий из себя громадное собрание лингвистических карт (отдельных французских слов и фраз) числом около 2000, размещающихся в 35-ти выпусках. Эта идея лингвистического атласа быстро привилась и в других западно-европейских странах, и в настоящее время уже многие из них располагают этого рода изданиями; в некоторых случаях работа по лингвистическому картографированию еще продолжается. Что касается России, то здесь этой работы почти и не начиналось. Ни в отношении русского населения страны ни населения иноплеменного, ни в метрополии ни на окраинах—не сделано и, кажется, не делается ничего, напоминающего лингвистические занятия современных западно-европейских диалектологов.

Понятно, что и для нашей окраины этот вопрос является новым вопросом. В какой же мере для Сибири возможно осуществление идеи „лингвистического атласа"?

Прежде всего, необходимо признать, что для обширной сибирской окраины с ее разноплеменным составом населения решение вопроса о лингвистическом атласе возможно, прежде всего—при условии разделения лингвистического труда. Лингвистическая география Сибири сама собою распадается на 1) лингвистическую географию отдельных сибирских народностей: напр., бурятской, тунгусской, якутской, татарской и пр. и на 2) лингвистическую географию русско-сибирского населения. Затем, сибирским лингвистам (языковедам), работающим по обследованию какой-либо одной лингвистической области Сибири (скажем, бурятского языка) предстоит каким-нибудь образом с о г л а с о в а т ь свои лингвистические занятия, например, на основе предварительно выработанной общей п р о г р а м м ы обследования, которая, отнюдь не лишая отдельных наблюдателей индивидуальной свободы в преследовании той или другой цели и в выборе метода, могла бы, однако, придать их работе желательное направление.

Точно также и в области русско-сибирской речи только при наличии такого соглашения, при наличии общей программы—может быть начата работа по лингвистическому обследованию русско-сибирского населения. Но здесь этот вопрос получает понятное осложнение. Дело в том, что русско-сибирское население не представляет из себя какой-либо особой русской народности, подобно малорусской или белорусской. Напротив, оно теснейшим образом связано с северно-великорусской этнической группой,—примыкает к ней, являясь ее естественным продолжением на востоке. Это можно сказать, по крайней мере, относительно русского *старожилого* населения Сибири.

Следовательно, работа по географии русско-сибирской речи может быть мыслима только, как часть общей работы по лингвистической географии великорусского или, во всяком случае, северно-великорусского населения республики. А поэтому и программа может быть мыслима только, как программа общая, объединяющая всех великорусских диалектологов. Почин в этом деле, конечно, должны на себя взять более опытные и более компетентные диалектологи Европейской России.

Другое дело—небольшой эксперимент,—издание краткой анкеты, долженствующей положить начало собиранию документов по лингвистической географии русской Сибири. Правда, мы уже располагаем одним изданием этого рода: еще в 1919-ом году томским профессором А. Д. Григорьевым была опубликована специальная „Программа для собирания сведений, необходимых для составления диалектологической карты русского языка в Сибири“ (оттиск из „Изв. Томск. Ун-а“ за 1919 г.), представляющая собою перепечатку (с очень незначительными дополнениями) программы по северно-великорусской и среднее-великорусской диалектологии, составленной Московской Диалектологической Комиссией (М. 1911). Но эта томская „программа“ (как и соответствующие „российские“ программы [1], совершенно не затрагивающая лексикологии и семантики и почти не касающаяся синтаксиса, не учитывающая возможности колебания и неустойчивости того или иного лингвистического изменения и пр.,—эта программа не годится для нашей цели. Необходимо составить новый вопросник по типу французской

---

[1] Кроме упомянутой программы М. Д. К., известна еще краткая „Программа для собирания сведений о великорусских народных говорах“, изданная Русским Географич. Обществом. Ранее других была издана Отделением русск. яз. и слов. Ак. Наук „Программа для собирания особенностей великорусских говоров“ С. П. Б. 1900 (громоздкая и теперь в значительной степени устаревшая).

анкеты Жильерона или (уже давно опубликованной) немецкой анкеты, известной в науке под названием „40-а предложений Венкера".

Можно именно представить себе этот вопросник в виде собрания коротких фраз на литературном языке, состоящих из слов, наиболее употребительных в разговорной народной речи и при этом так искусно подобранных, чтобы в своей совокупности они давали полное отражение народного языка известной местности и со стороны его звукового состава, и со стороны грамматической, лексикологической и семантической. Ведь одни и те же слова и фразы в различных географических пунктах могут и по разному произноситься, и по разному строиться; одно и то же понятие может быть выражено разными словами; одна и та же форма—разными окончаниями. *Переводя такой вопросник на местный язык* в том или другом географическом пункте,—лингвист-географ получает в конечном счете материал, прекрасно отражающий живую народную речь во всем ее диалектическом многообразии.

Положим, в анкете имеется фраза: „на-днях мы со старшей сестрой ходили в лес за ягодами". Попробуйте перевести ее на местный язык того или другого пункта Сибири. У вас получится целая коллекция вариантов этой фразы. Выражение „на-днях" едва ли окажется распространенным. Чаще для выражения этого понятия в народной речи в Сибири употребляются другие слова: намедни или ономедни *(красноярск.)*; оногдысь или оноядысь или же анадысь *(амурск.)*, ономнйсь *(тобольск.)* и т. п. Вместо „мы" на Колыме в этом случае скажут „а-мы". Вместо „в лес" возможно и „в лис" и „у лес" и „у лис" или ни то ни другое, если в этом значении употребляются иные слова: бор, дубрава, тайга. Вместо выражения „со старшей сестрой" на Колыме сказали бы „с нянькой". Вероятно, это слово с этим значением известно и еще где-нибудь по Сибири, только вместо „нянька" может быть там произносят „ненька" или же „нянькя". Вместо „за ягодами" вы скорее услышите „за ягодам", а всего вероятнее—„по ягоды". Наконец, самые слова могут быть употреблены в этой фразе в ином порядке, чем в языке литературном, и с иной интонацией, чем там.

Вообразите себе теперь, что подобных фраз в вопроснике не одна и не две, а десятки и сотни. В вашем распоряжении оказывается богатейший лингвистический материал. Мне кажется, что именно с составления такого вопросника и могут и должны

начаться лингвистические занятия по географии русского языка в Сибири[1].

Итак, изучение русско-сибирской речи должно быть направлено по новому руслу. Но значит ли это, что теперь диалектологам следует оставить всякие работы, не соответствующие этому направлению, отливающиеся в старые формы? Конечно же нет! Из практических соображений едва ли можно отказаться даже от старой диалектологической терминологии: диалект, говор, наречие. Правда эти термины должны теперь получить иное значение, иной смысл: не значение языковой особи, языковой клетки, отгороженной от соседних и замкнутой в своих границах, а значение только местной разновидности живого целого, не имеющей определенной в смысле границ территории и живущей одною жизнью с этим живым целым. Научное описание диалекта, понимаемого в этом значении, конечно, по прежнему должно сохранить за собой характер законного лингвистического исследования, тем более ценного, чем больше оно находится в курсе нового лингвистического течения. Не будут и не должны быть оставлены и лексикологические работы, напр., по составлению словарей областных и местных, профессиональных и пр. Напротив, они должны теперь получить особенное, важное значение как лингвистические работы. Но, чтобы сохранить это значение, они в такой же степени, как и диалектологическое описание, должны проникнуться новым лингвистическим настроением.

Старые формы изучения народной речи не могут и не должны быть оставлены; они нуждаются только в известной подправке, в известном ремонте, в качестве форм научного изучения. Да и не в этом, в конце концов, суть, не в старых или новых формах лингвистического исследования. Были бы деятельные и лингвистически-образованные работники! Было бы искреннее стремление к науке и бескорыстное желание оказать посильную помощь в общем научном деле!

---

[1] От вопроса о лингвистическом атласе Сибири следует отделять вопрос о диалектологической карте русск. языка в Сибири (т. е. о карте распространения русско-сибирской речи и ее наиболее значительных разновидностей). Если под „русским языком в Сибири" подразумевать язык *старожилого* населения (включая сюда и сибирских старообрядцев-„поляков" на Алтае и „семейских" в Забайкалье), то осуществление *такой* диалектологической карты возможно и при теперешнем состоянии русско-сибирской диалектологии. Наиболее значительных разновидностей русско-сибирской речи —две: с одной стороны, *северно-великорусская* речь старожилого коренного населения (при окающем или акающем произношении); с другой *южно-великорусский* язык старообрядцев,—более позднего, но также старинного сибирского населения. Резких границ между этими двумя „диалектами" русско-сибирской речи не имеется. Вообще же говоря, этот вопрос (о „диалектолог. карте русск яз. в С.") относится скорее к „этнографической диалектологии", чем к „лингвистической географии".

II.

П. П. Хороших.

Бирки иркутских бурят. [1]

Вопрос о бирках туземных племен Сибири в этнографической литературе затронут очень мало. Нам не приходилось встречать о них в литературе специальных статей; можно отметить лишь несколько кратких упоминаний. [2] Значительно полнее освещен вопрос о бирках, применяемых русским населением. [3] Что же касается изучения бирок бурят-монголов, то специальным изучением их еще никто, насколько нам известно, не занимался.

В виду этого мы считаем не лишним поделиться своим опытом в области изучения бирок иркутских бурят.

Материалы о бирках бурят собраны во время моих поездок к Ольхонским, Кудинским, Верхнеленским, Капсальским, Балаганским и Аларским бурятам, совершенным за период 1921—1925 г. г. по поручению Иркутского Научного Музея Биолого-Географического Института и Восточно-Сибирского Отдела Русского Географического О-ва.

Сведения о бирках собирались, как путем опроса бывших вахтеров, смотрителей хлебозапасных магазинов, путем беседы с пастухами, торговцами и т. д., так и путем просмотра архивного материала, хранящегося в архивах бывших Степных Дум, Инородных Управ и других учреждений.

Бирку составляет небольшая, выстроганная со всех четырех сторон деревянная палочка длиною от 5 сант. до 1 метра и более, шириной до 3 сантим. и толщиной от $^3/_4$ сант. до 2—3 сант. Назначение ее—служить распиской-квитанцией при различного рода торговых сделках и расчетах, при сдаче на пастьбу скота, сдаче в хлебозапасный магазин хлеба и т. д. На поверхности бирки делаются особые знаки (цифры) в виде зарубок, линий, крестиков и т. д.; которые и обозначают количество купленного или проданного товара, взятого или засыпанного хлеба, сданного на пастьбу скота и т. д. Такие нарезки на бирке делаются в присутствии продавца и покупателя или хозяина и пастуха, после чего бирка раскалывается вдоль на

две части, так, чтобы надрез прошел по средине знаков; одну половинку берет кредитор или хозяин, а другую должник или пастух или кто-либо другой, в зависимости от того, при каких расчетах применяется бирка.

При приеме скота, хлеба или уплате долга обе половинки вновь складываются; при этом наблюдают, придутся отметки или нет. Если все зарубки сошлись, то это и будет верным показателем правильности счета. При уплате долга по частям или получении скота из стада—все изменения делаются снова на обоих половинках бирки, в присутствии заинтересованных лиц, затем половинки бирки снова отдаются сторонам.

Таким путем бирка является постоянным документом при контроле различного рода расчетов.

Как известно, бирки вошли в употребление среди многих народностей еще с древних времен. О бирках, как долговых актах, упоминают наши летописи XIII и XIV стол. и законодательные памятники, называя их дисками.[4] Находили широкое распространение бирки, а в последующие столетия и применялись в самых разнообразных случаях: напр., бирки употреблялись многими ремесленниками, сборщиками податей, подрядчиками при найме рабочих и выдаче им заработной платы, торговцами, биржевыми артельщиками и поставщиками, крестьянами в различных случаях жизни, пастухами и т. д.

Употреблялись бирки и как акты укрепления имуществ. П. Ефименко говорит, что „во внутренних великороссийских губерниях, как и в Германии, при передаче недвижимой собственности из одних рук в другие, приобретателю имущества передается и бирка с знаком этой собственнотти. Тут бирка играет роль крепости, а не долгового обязательства".[5]

Некоторое подобие бирок мы находим и в дощечках, употребляемых ранее сибирскими казачьими караулами и монгольскими сторожевыми пикетами во время деловых переговоров для удостоверения полномочий своих представителей. На таких дощечках было вырезано с одной стороны по-русски, а с другой по-монгольски название караула и его станичного округа. Эта дощечка расщеплялась пополам: одна половина оставалась у наших казаков, а другая отдавалась монгольской страже.[6]

В данной статье приводятся сведения о следующих группах бирок иркутских бурят: бирки хлебные (таряни рубишхэ или магажей ирбиска), употребляемые ранее в экономических хлебозапасных магазинах, бирки денежные (мунгут-ирби-

зэн или мунгуни рубишхэ), бирки пастушеские (пастуя ирбиска или пастуя рубишхэ) и „тайлга ирбишхэ“, т. е. бирки, делаемые во время общественных праздников (тайлга) при покупке жертвенных животных и дележе жертвенного мяса.

I. Таряни рубишхэ или магажей ирбиска, т. е. хлебные бирки.

Большое применение бирки имели в начале и половине XIX столет., в связи с открытием в Сибири экономических хлебозапасных магазинов, учрежденных в 1805 году в земледельческих районах Сибири, в том числе и в Иркутской губернии.

Назначение таких магазинов заключалось в том, чтобы обеспечить население зерновым хлебом для обсеменения полей на случай неурожая. Такое обеспечение продовольствием в то время, при плохих путях сообщения, было крайне необходимо.

Для образования запаса зерна в экономических магазинах предписывалось обществу ежегодно засыпать в магазины по 6 гарнцев на каждую ревизскую душу приписанного сельского населения“ [7].

Ссуды на обсеменение полей выдавались ежегодно, по приговорам сельских обществ, с круговой порукой общества и с разрешения губернского начальства. Для взыскания ссуды осенью и зимой из среды населения выбирались на каждые 10—20 дворов по одному „понудителю“, которые и следили за получением недоимок. За пополнением взятых ссуд существовал строгий надзор, и для взыскания их широко применялся закон, разрешающий обществу продавать земельный надел недоимщиков [8].

Хлеб в экономический магазин принимался по особой мерке—пудовке, называемой у бурят „магазей пудовка“. Сначала такие мерки были железные, затем их заменили деревянными.

Зерновой хлеб, перед сдачей его в хлебозапасный магазин, первоначально подвергался сушке на особых палатях (сушилах), устраиваемых специально для этого около экономических магазинов.

Для приема овса употреблялись отдельные овсяные мерки, также на 1 пуд. Во избежание обмана мерки, как на верху, так на дне опечатывались печатью смотрителя.

Общее заведывание экономическим хлебозапасным магазином и ведение отчетности лежало на смотрителе магазина, который назначался Степными Думами.

В помощь смотрителю из среды местного населения выбирались вахтера (по бурятски „бахтера“). Вахтера в экономические магазины выбирались обществом на один, два или три года и утверждались Степными Думами.

Число вахтеров было различно (от 2 до 6 челов.), смотря по числу дворов, приписанных к магазину. На обязанности вахтера лежало: прием и выдача хлеба и овса и выдача бирок, называемых „магажей ирбиска“ или „талхани-магажей ирбизка (т. е. хлебная магазинная бирка).

Сторона бирки, на которой отмечалось поступление хлеба в магазин, по бурятски называлась „урулха“, а сторона, на которой отмечалась выдача—„гарагха“.

Количество выдаваемого в ссуду хлеба на бирках зарубал смотритель (а иногда и вахтер) в присутствии лица, бравшего ссуду. После того, как количество выданного хлеба удостоверялось обоими сторонами, бирка раскалывалась пополам, сама бирка (ирбизэн тологой, т. е. голова бирка) оставалась у вахтера, а отколок (хопи ирбизэн или оговорхой) выдавался на руки клиенту.

В бирке, оставшейся у вахтера, делалось отверстие (сорхэ), за которое она и привешивалась на особое место, где хранились все бирки. (См. Табл. № 5, рис. 2).

Кроме бирок клиентов, в хлебозапасных магазинах у вахтеров имелись еще большие четыреугольные контрольные бирки „ихэ-рубишхэ“, т. е. мать-бирка, длиною в человеческий рост.

На такой бирке нарезки делались на всех четырех сторонах, и на них отмечался: 1) полный комплект хлеба в магазине, 2) количество хлеба, выданного в ссуду, 3) недоимки хлеба за разными лицами и 4) наличие остатка хлеба в хлебозапасном магазине. Вахтеров, неправильно принимавших хлеб, буряты называли „хулугэй“ (безхвостая крыса)—плутоватый.

II. Тайлагани-ирбишхэ [9].

„Тайлаган-ирбишхэ“ практикуются бурятами при дележе жертвенного мяса во время общественного праздника, называемого у бурят „тайлаган“ или „таилга“. Такую бирку обыкновенно делают во время праздника и делает ее тот, кто делал уже раньше или кто вообще умеет делать бирки. За работой следят двое или трое стариков. Бирку начинают приготовлять сразу же, как только заколото жертвенное животное.

Приготовляется бирка таким образом. Сначала на узкой стороне бирки, начиная с головы (тологой ирбизэн) посредством прямых линий, вырезываемых на некотором расстоянии друг от друга, намечаются места для домохозяев—участников тайлагана; затем на этой же стороне бирки в отведенных местах делаются небольшие насечки, означающие, к какому роду принадлежит каждый домохозяин—участник тайлагана. На первом месте обозначается домохозяин, живущий с краю улуса, рядом с ним—сосед и т. д. Так, напр., если на первом месте стоит одна насечка, то это означает, что участник тайлагана, живущий первым с краю, принадлежит к первому роду.

Когда распределение участников тайлагана по порядку расположения их юрт и по отношению к тому или иному роду сделано, каждый участник тайлагана подходит к лицу, делающему бирку (рубишчику) и заявляет, сколько ему желательно иметь паев жертвенного мяса. После этого рубишчик на широкой стороне бирки, против места, отведенного тому или иному домохозяину, намечает количество паев. Если участник тайлагана желает получить один пай, то против его места ставится одна черта, если два пая, то ставятся две черты и т. д.

Количество паев, взятых тем или иным участником, в отличие от других, отделяется тонким нарезом.

Право на пай имеют только отец и женатые сыновья, как самостоятельные хозяева; женщины пая лишаются и на праздник не допускаются,

На другой стороне бирки тем-же рубишчиком обозначается стоимость купленной лошади, барана или другого жертвенного животного, а также стоимость пая. Стоимость пая объявляется здесь же всем участникам-домохозяевам.

Когда нарезки на обеих сторонах бирки сделаны и выяснено число участников тайлагана и количество паев, то бирка окрашивается кровью принесенного в жертву животного. Это делается с целью избежать подделки бирки.

После этого сваренное жертвенное мясо вынимается из котла, делится на столько же частей—паев, сколько их оказалось на бирке, и затем раздается участникам—пайщикам.

По окончании тайлагана бирка хранится у того лица. которое покупало жертвенное животное (лошадь, барана или другое животное) до тех пор, пока оно не соберет деньги за купленное животное. Лицо, купившее жертвенное животное и поручившееся за добросовестный платеж перед продавцом, в качестве вознаграждения получает или шкуру жертвенного животного или же освобождается от платежа за свой пай.

Такая „тайлаган ирбишхэ“—бирка изображена на таб. № 5, рис. 3, 4. На данной бирке „сказано, что лошадь, принесенная в жертву, куплена за 30 рублей, стоимость каждого пая—1 руб. 50 коп., число паев—20 и количество домохозяев—5. Первый домохозяин принадлежит к 3 роду, он взял 5 паев и платит 7 руб. 50 коп.; второй принадлежит к 6 роду, он взял 5 паев и платит тоже 7 руб. 50 коп. и т. д.

III. Пастуя ирбизэн—пастушеские бирки [16].

Пастушеские бирки до сего времени применяются в обиходе бурят-скотоводов. Такие бирки делает пастух при приеме на пастьбу скота. Нарезки, в виде прямых линий или других условных знаков, делаются на широкой стороне бирки; при чем различные виды скота обозначаются в различных местах бирки; так, напр., овцы обозначаются с левого конца бирки, козы- с правого, телята—в средине и т. п.

Когда количество принятого на пастьбу скота указано, бирка разрезается пополам; сама бирка (ихэ-ирбизэн) остается у пастуха, а отрезок передается пастухом хозяину скота. Когда хозяин пожелает взять из стада некоторое количество скота, то он обязан принести пастуху отрезок бирки, и пастух, приложив отрезок к бирке, на оборотной стороне ее делает нарезки, показывающие количество взятого из стада скота. Нарезки делаются против того вида скота, который берется хозяином из стада. После этого отрезок вновь передается хозяину.

Скот, пропавший в стаде или заеденный волками, а также и убитый молнией, обозначается на той же стороне бирки, где отмечается убыль из стада, но только по удостоверении в этом хозяина.

Прирост скота, напр., прибавление ягнят в летнее время, отмечается на стороне, предназначенной для „записи“ прихода.

Иногда родившиеся в стаде молодые ягнята отмечаются не сплошными нарезками во всю ширину бирки, а только небольшими нарезками в средине бирки, но на обеих ее половинках, для чего обе половины складываются вместе и затем делается отметка.

Таким путем ведется постоянный учет скота. На таблице № 5, рис. 5—6 приводится такая пастушеская бирка. На ней указывается, что пастуху передано для пастьбы 156 овец (обозначено слева) и 12 яманов (справа), а затем хозяином в разное время взято—12 овец, 4 ямана.

IV. Мунгут-ирбизэн или мунгуни рубишхэ, т. е. денежные бирки.

Денежные бирки по своему виду и способу употребления мало чем отличаются от хлебных бирок. (См. Табл. 4. рис. 3—4). В данное время такие бирки почти не применяются, в старину же они имели широкое распространение при торговых сделках и расчетах.

Обозначение цифр на денежных бирках почти аналогично всем остальным видам бирок. У Кудинских бурят иногда копейки и фунты обозначаются на ребрах бирок на подобие „тайлгани рубишхэ", что делается, по их словам, „для удобства". Иногда на концах бирок грамотные буряты пишут свои фамилии или ставят условные знаки; то же практикуется и на других видах бирок (хлебных, пастушеских и др.).

Обозначение чисел на бурятских бирках таково: единицы (до 5) обозначаются прямыми линиями, через всю ширину бирки или уколами (см. Табл. № 1) цифра 5 обозначается наклонно вырезанной линией, цифры 6, 7, 8, 9—наклонно вырезанной линией с добавлением с правой стороны одной, двух, трех или четырех линий. Цифра 10 изображается двумя крест на крест вырезанными линиями и, в общем, напоминает обозначение римской цифы X. После 10 изображение цифр усложняется.

Следует отметить, что в некоторых местностях Бурятии мы встречаем заметные особенности в изображении цифр на бирках (ср. прилагаемые таблицы бирок).

Как известно, система обозначения цифр, применяемая к биркам, широко получила права гражданства и оффициально была узаконена еще в „Высочайше утвержденных правилах о порядке взимания денежных сборов с государственных крестьян 12 декабря 1844 года" (№ 18519). Знаки эти следующие[11]):

□=10 (рублей)
⊕=1 (рубль)
×=10 (копеек)
|=1 (копейка)
—=¼ (копейки)

Приблизительно такие же знаки практиковались и при взносе сибирскими туземцами ясака. В Уставе о податях (Свод Законов т. V; стат. 907 и 959) было сказано, что каждому родо-

вому старосте, от которого поступал ясак, выдается от земской полиции квитанция в печатных бланках. На каждой квитанции, кроме изложения словами, должно быть показываемо особыми знаками число внесенных рублей и копеек так, чтобы сдающие, сосчитав эти знаки, могли быть уверены в справедливости показания. Дабы не можно было сделать здесь никаких прибавок, все таковые знаки очерчивают кругом прямыми линиями. При этой же статье была приложена самая форма квитанции, в которой тысяча рублей обозначена звездочкой, сто рублей—кружком, десять—квадратом, один рубль—римскою цифрой X, десять копеек—десятью черточками, перечеркнутыми одною линией, и одна копейка—одною черточкой. В первый раз форма такой квитанции помещена в уставе об управлении инородцами, изданном в 1822 году [12].

Нам кажется, что мы еще не имеем возможности говорить о времени появления бирок в обиходе бурят-монголов: у нас нет достаточно освещающих этот вопрос материалов. Отсутствует материал и для того, чтобы говорить о тех изменениях, которым подвергались наиболее древние формы бурят-монгольской бирки. Наконец, недостаточен материал и для того, чтобы установить связь, существующую между бирками, тамгами, таврами и другими родовыми знаками собственности.

Тем не менее, можно предполагать, что бирка у монгольских племен вошла в употребление еще с древних времен и, повидимому, перешла к ним от их отдаленных предков.

Наибольшее применение у бурят бирка нашла после переселения их на территорию Прибайкалья и в особенности—со времени встречи бурят с русскими.

В старину же у бурят всякие взаимные обязательства гарантировались одним честным словом, и буряты не имели в обиходе киких-либо письменных документов, расписок и пр.

Однако с момента закрепления господства русских постепенно стали входить в употребление различные письменные документы, расписки и т. п. [13].

К сожалению, нам не удалось собрать сведений о других видах бурятских бирок, напр. о бирках при сборе податей [14], при взносе ясака, при дележе поскотины, при дележе покосных паев и т. д.; этот пробел мы надеемся пополнить в будущем [15].

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Настоящая статья представляет собою текст доклада, зачитанного на заседании Биолого-Географического научно-исследовательского Института при Государственном Иркутском Университете 8 апреля 1926 года.

2. Абрамов. Описание Березовского края. Зап. Геогр. О-ва 1857, кн. XII. Баха. Взыскание податей (из бурятской жизни). Сиб. Вопросы. 1912, № 7—8, стр. 70. Г-н М. И. Бирки и записи долгов, графически представленные в своей торговой книге неграмотным якутом Верхоянского округа. Изв. Якутск. Отд. Русск. Геогр. О-ва, 1915, т. I. Зап. Сиб. Отд. 1857, кн. IV, стр. 59; Логиновский. Бирки и сельские деревянные календари. Жив. Стар., 1902, в. 2; Щапов. Сельская оседло-инородческая и русско-крестьянск. община в Кудинско-Ленском крае. Изв. Сиб. Отд. Русск. Геогр. О-ва, 1875, т. VI. № 3, стр. 107; Устав об управлении инородцев в Сибири, изд. 1822.

3. Архангельские Губ. Вед. 1870, № 71; Богданов В. В. Русская бирка и древнейшие элементы бирки у се европейских сородичей. М. 1916; Бирки и инородческие знаки собственности сравнительно с русскими. Казанск. Губ. Ведом., 1890, № 60, 1891, № 3; Гакстгаузен А. Закавказский край. СПБ. 1856, стр. 125—129; Доклады членов Рязанской губ. Земской Управы о ревизии уездов Зарайского, Пронского, Егорьевского и Скопинского уездов. Ряз. 1874, стр. 114; Дневные Записки путешествия И. Лепехина. Изд. 2-ое, СПБ. 1795—1805, 1—4, стр. 257 и 290. Ефименко П. С. Народные юридические обычаи Архангельской губ. Труды Арх. Стат. Комитета за 1867. Арх. 1869, № 3; Ефименко П. С. Юридические знаки. Журн. Мин. Народн. Просв. 1874, № 10—12; Золотарев Д. А. Карельские клейма. Изв. Русск. Геогр. О-ва 1924, т. LVI, в. 1; Живало К. Хозяйственный быт жителей станицы Разшеватской. Куб. Обл. Вед. 1855, стр. 17, 19, 38. Иванов Пр. Юридические знаки. Арх. Губ. Ведом. 1870, № 34; К вопросу о гранях и метах (заметка). Вести. Ряз. Краеведов, 1925, № 4, стр. 20—21; Клетнова Е. Н. Записки о метах и знаках собственности Вятского уезда. Эти. Обозр. 1916, кн. CIX—CX; Логиновский Д. Бирки и сельские деревянные календари. Жив. Старина 1902, в. 2; Материалы для истории Импер. О-ва Истории и Древностей Российских. Чтения в Импер. Общ. Истории и Древн. Росс. 1887, 1; Местное Великороссийское Положение (Положение о сельском состоянии IV. Особое Прилож. к IX тому Свода Законов о сост. Статья 226); Наем рабочих при постройке железных дорог. СПБ. Ведомости 1875, № 65. О бирочном счетоводстве. Журн. Сельск. Хоз. и Овцеводства 1845, № 25; Пахман С. В. Обычное граждан. право в России. СПБ. 1877, т. 1; Письмо к издателю А. И. Кошелеву. В. Даль. Русская беседа 1856, 3, стр. 5; Попов Кл. Зыряне и Зырянский край. Изв. О-ва Любител. Ест. Антр. и Этн. (Труды Этн. Отд., кн. 3. в. 2) М. 1874, т. XIII, в. 2., стр. 49; Савельев А. И. Российская библиография 1881, № 83 (приведена литература о бирках); Самоквасов. Обычное

право, в. 1. 1875, Ярославль; Семейные юридические знаки собственности при разделах. Ставр. Губ. Ведом. 1879, № 34, из статьи Е. Т. Соловьева „Очерки обычного права крестьян Мамадышского уезда. Каз. Губ. Вед. 1879, № 36; Скоробогатый П. Доказательства на волостном суде. Юридич. Вестн. 1883, № 2; 1884, № 5—6; Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. Киевск. Старина, 1889, август, стр. 402—405; Тмощенков И. В. Общественный быт и народн. обычаи Казанской станицы. Труды Областн. Войска Донского Стат. Комитета. Новочеркаск, 1874, № 2; Труды Комиссии по преобразованию волостн. судов Томск. губ., т. I, стр. 153; Устав Судопроизводства Торгового, изд. 1887 (статья 256, 274, 276); Шифнер А. Об этнографической важности знаков собственности. Ученые Записки Академии Наук по первому и третьему отделам, т. 3. СПБ. 1855, в. 5; Шульгин В. О состоянии женщин в России до Петра Великого. Киев 1850; Якушкин Е. Обычное право, в. 1. (Материалы для библиографии обычного права) Ярославь, 1875; Энцикл. Словарь под редакцией проф. И. Е. Андреевского изд. Брокгауз и Эфрон СПБ. 1891, т III, стр. 896; Энцикл. Лексикон (Клюшара) СПБ. 1835—1838, т. VI: Бирка; Ю. В. (Юрлов): Описание природн. х селений Симбирского уезда. Симбирск Губер. Вед. 1868, № 70, 81.

4. П. Ефименко. Юридические знаки. Журн. Мин. Нар. Просв. 1874, ноябрь, стр. 154.

5. Там же, стр. 158.

6. Логиновский. Бирки и сельские календари. Жив. Стар. 1902, в. 1, стр. 196.

7. О хлебозапасных магазинах см. Андриевич В. К. Сибирь в XIX ст., часть 2, глава 2; 1889; Кулаков и Молодых. Иллюстрированное описание Ирк. губ., стр. 146—148; Щеглов И.

Корнилов. Замечание о Сибири 1828. Материалы.

8. Кулаков и Молодых. Иллюстрированное описание Иркутск губ., стр. 146.

9. Сведения о „тайлагани ирбшихэ“ сообщены мне учителем Р. С. Мырдыгевым, жителем Аларской степи.

10. Значительная часть сведений о пастушеских бирках сообщена мне учителем А. Чайвановым, живущем в улусе Хига Аларского аймака. Им же пожертвована коллекция пастушеских бирок в Иркутский Музей.

11. М. И. Г-н. Бирки и записи долгов, графически представленные в своей торговой книге неграмотным якутом Верхоянского округа. (Изв. Як. Отд. Русск. Геогр. О-ва, 1915, т. I, стр. 100).

12. Ефименко П. Юридические знаки, стр, 155.

13. Кулаков П. Е. Буряты Ирк. губ. Изв. Вост.-Сиб. Отд. Русск. Геогр., О-ва, 1896, т. XXVI, № 4—5; стр. 148.

14. Краткие сведения о бирках (рубежах), употребляемых во время сбора податей. см. в статье Баха „Взыскание податей“ (из бурятской жизни). Сиб. Вопросы, 1912, № 7—8, стр. 70.

15. П. П. Баторов передавал мне, что в детстве от одного ссыльного калмыка он слыхал, будто жители степных местностей в старину употребляли для счета узловую систему на нитках вместо деревянных бирок, или рубижей.

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1.

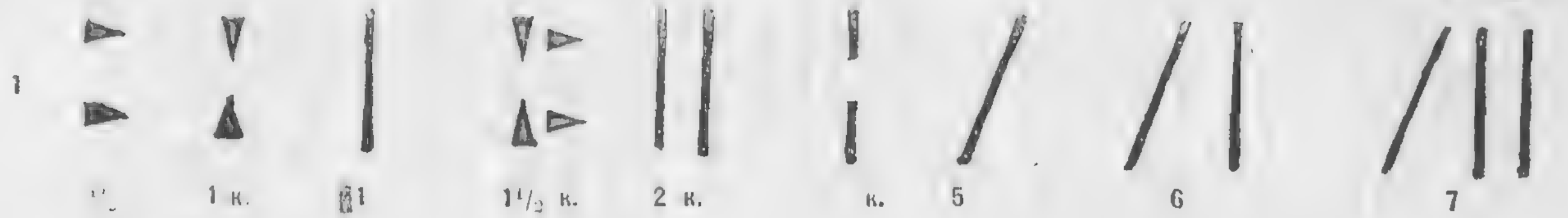
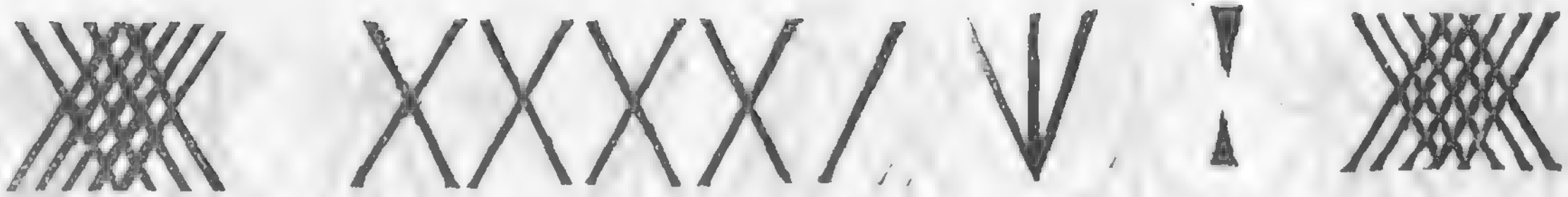


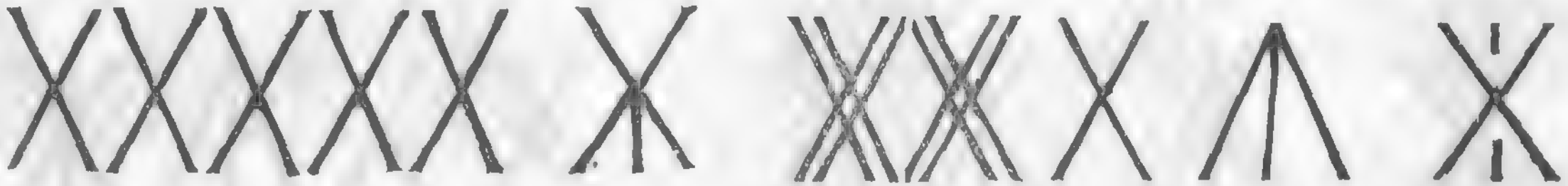
Таблица 2.

1



45 45 50 50 к. 50

2

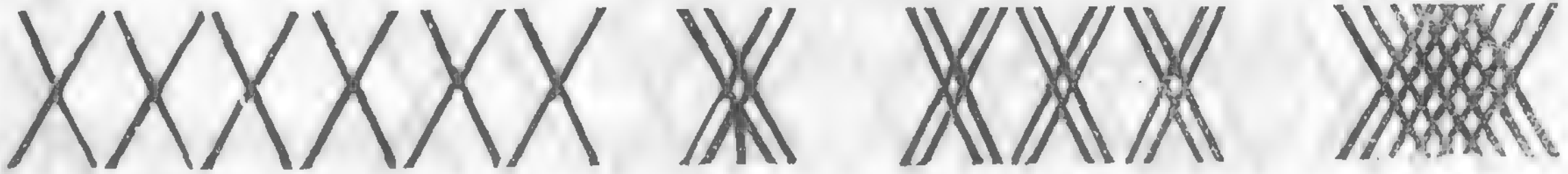


50 50 50 50 п.

3

55 55 60 60 к.

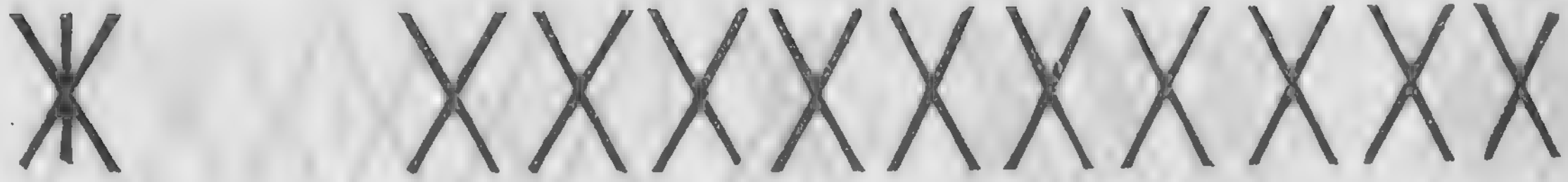
4



60 60 60 60

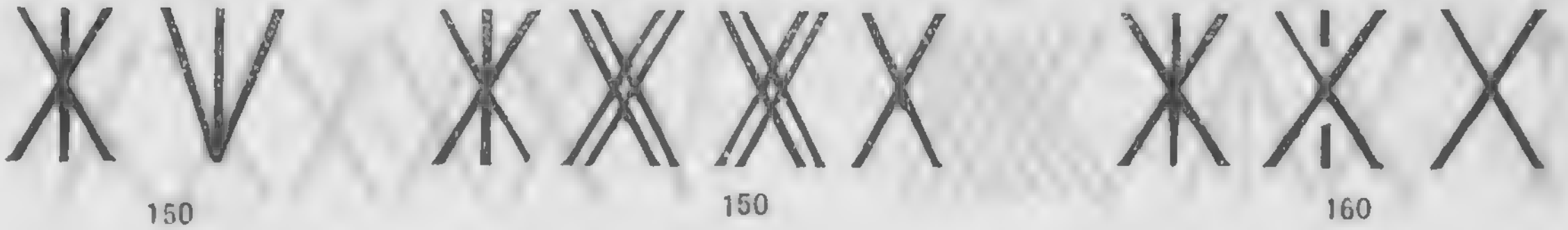
Таблица 3.

1



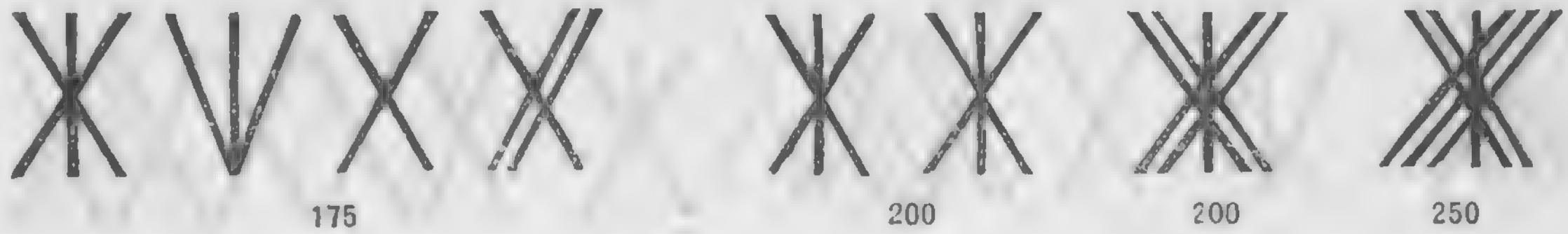
100 100

2



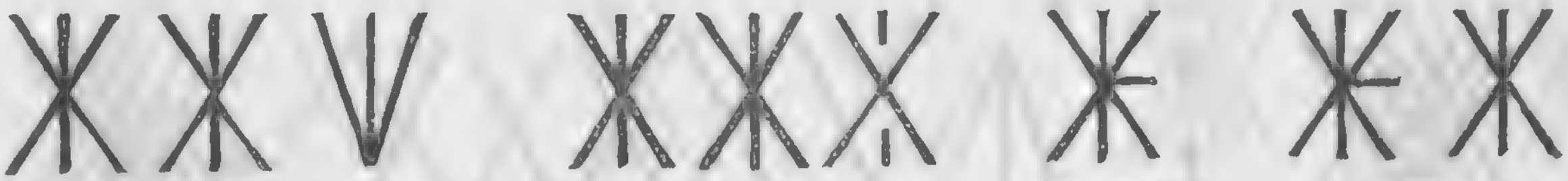
150 150 160

3



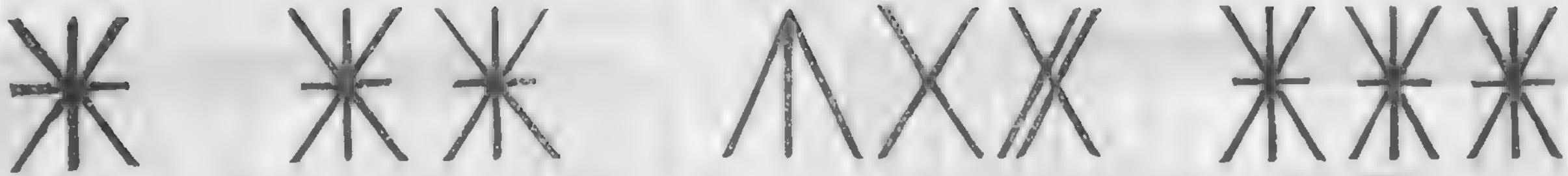
175 200 200 250

4



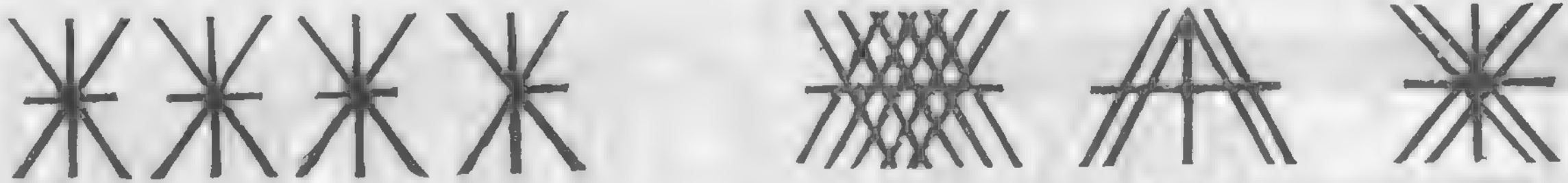
250 250 500 600

1



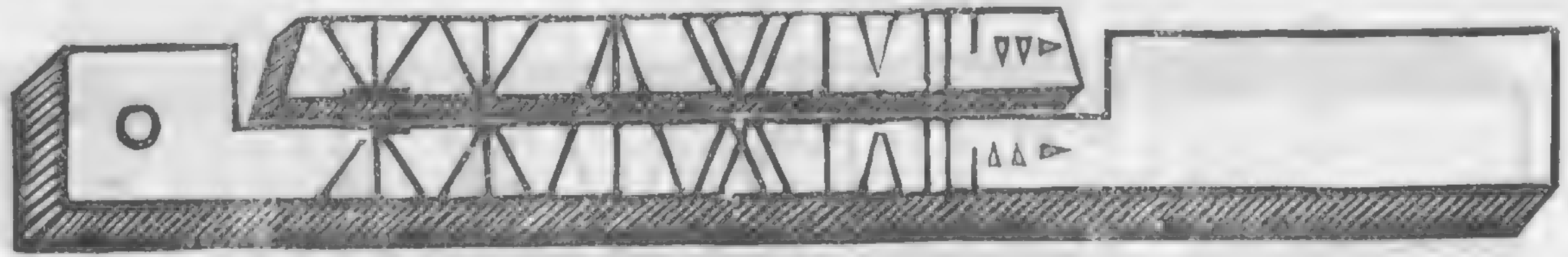
8000 2575 3000

2



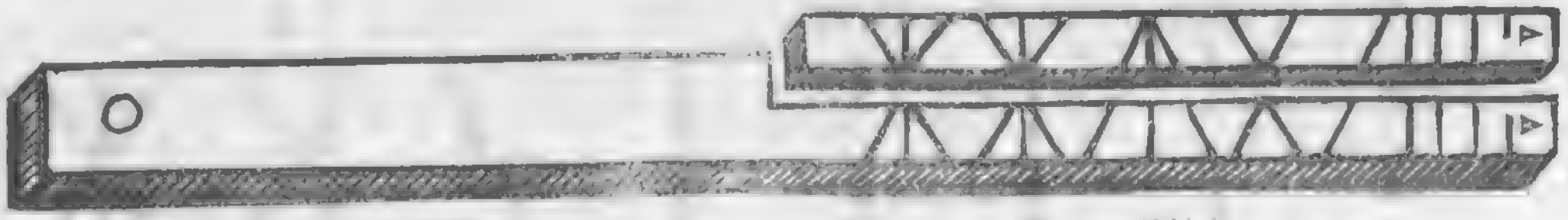
3500 5000 5000 10000

3



ДЕНЕЖНАЯ БИРКА. 1171 р. 77½ к.

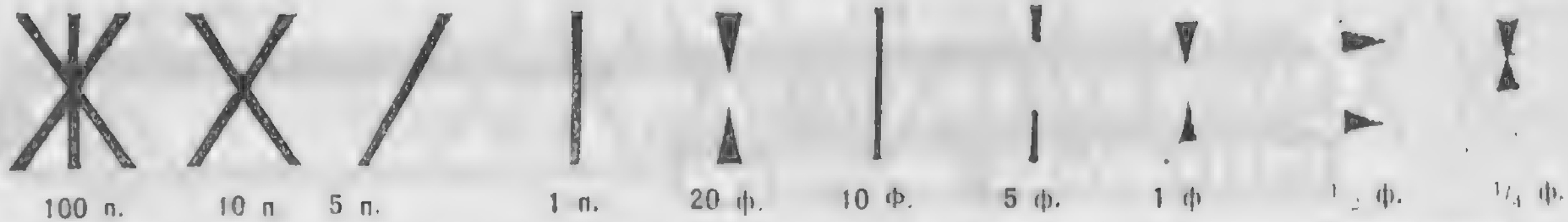
4



ДЕНЕЖНАЯ БИРКА. 268 р. 05½ к.

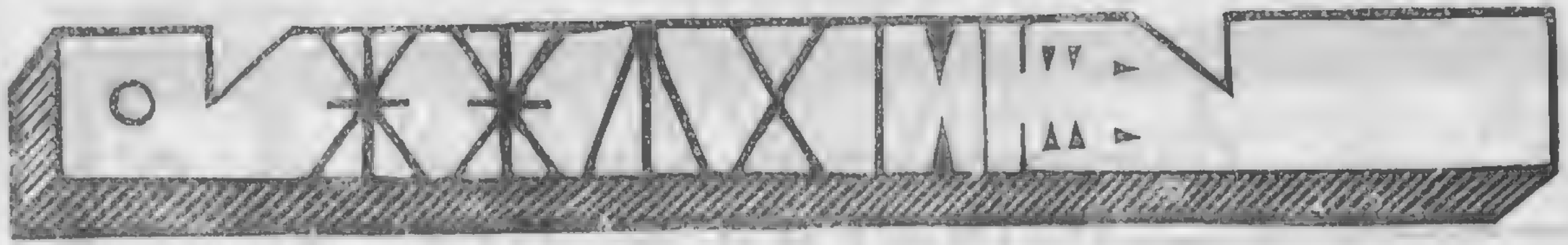
Таблица 5.

1



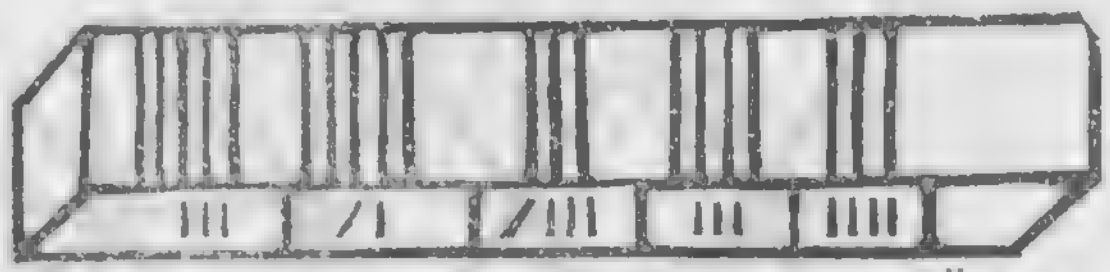
100 п. 10 п 5 п. 1 п. 20 ф. 10 Ф. 5 ф. 1 ф 1/2 ф. 1/4 ф.

2

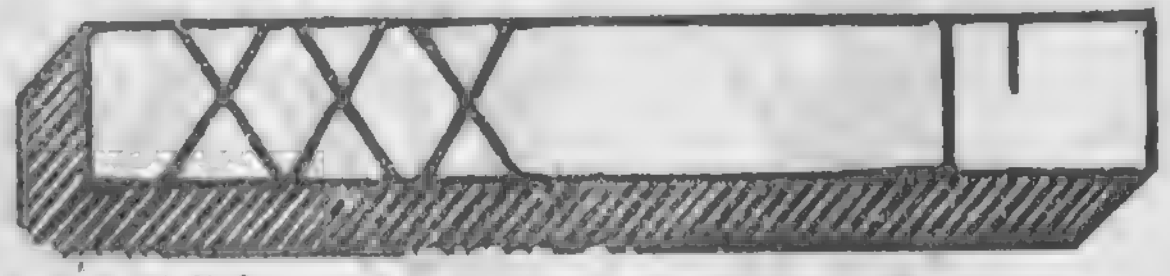


ХЛЕБНАЯ БИРКА. 1561 п. 37 1/2 ф.

3

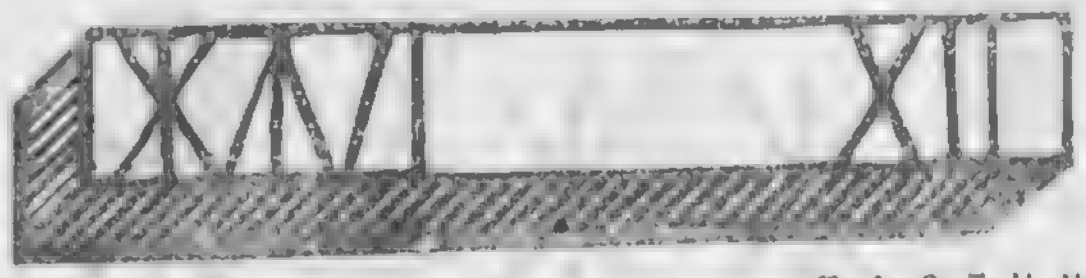


4

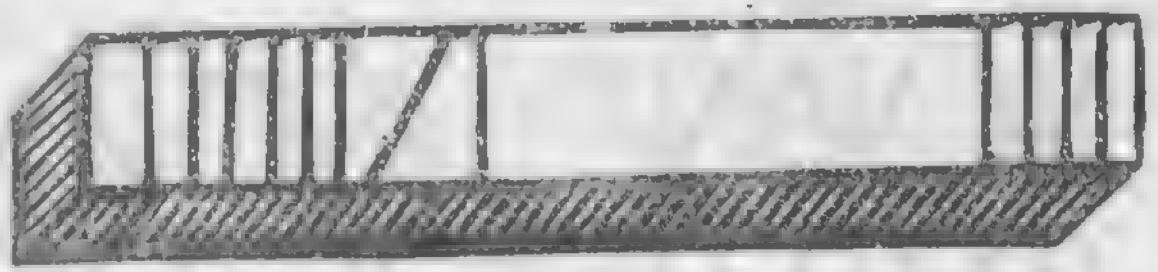


ТАЙЛАГАНИ—ИРБИШХЭ.

5



6



ПАСТУШЕСКИЕ БИРКИ.

Н. Попов.

Пища тунгусов.

Источники моих сведений о тунгусах.

Осенью и зимой 1925—26 года мне пришлось быть у туруханских тунгусов в качестве участника экспедиции Комитета Севера. Я проехал по реке Н. Тунгуске от города Туруханска вверх до местечка Тура, расположенного в 900 верстах от устья реки, потом с Н. Тунгуски перебрался на Подкаменную, минуя покрытое сплошной тайгой междуречье, шириной верст в 400. По Н. Тунгуске кочуют тунгусы Чумского, Панкагирского и Чапогырского родов. Несколько севернее Н. Тунгуски обитают так называемые Илимпийские тунгусы, и вся приречная правобережная сторона, шириной верст в 500, называется Илимпийской тундрой. В междуречье р. р. Нижней и Подкаменной Тунгусок живут тунгусы Куркагирского и Чандарского родов. Со всеми этими тунгусами я знаком далеко не одинаково. Работа моя касается всех тунгусов от Илимпийской тундры до южных границ Туруханского края, но непосредственно я соприкасался только с некоторыми родами, обитающими по Н. Тунгуске, и с Куркагирскими тунгусами. Во время моего проезда до Туры я тунгусов почти не встречал и знакомился с их бытом только расспросным путем. Особенно много сведений сообщил мне лоцман переводчик М. М. Суслов. М. М.—человек, очень долго живший в тунгусской среде, хорошо знающий тунгусский быт и язык, на котором он временами может изъясняться свободнее, чем на русском. Он исколесил все окрестности Н. Тунгуски. Человек умный и культурный, М. М. давал сведения охотно и обстоятельно. Записанное со слов М. М. мне неоднократно приходилось проверять потом лично, и всегда данные сведения оказывались правильными. Особенно благодарен я М. М. за сведения, данные об Илимпийской тундре, в которой мне быть не пришлось совершенно, и с бытом которой я знаком только по рассказам М. М. Все, что написано ниже о пище Илимпийских тунгусов,— написано со слов М. М. Суслова.

Прежде чем отправиться на Подкаменную Тунгуску, я должен был прожить около $1^1/_2$ месяцев на фактории Госторга

в устье реки Виви, впадающей в Н. Тунгуску верст на 200—250 ниже по течению Туры. Там мне пришлось лично неоднократно видеться с тунгусами Панкагирского рода. Потом с этими же тунгусами я кочевал в течение 20-ти дней в сторону Подкаменной Тунгуски. В дальнейшем я странствовал с тунгусами Куркагирского рода, в среде которых я постоянно находился и с бытом которых и, в частности, с пищей мог познакомиться довольно подробно лично. О тунгусах Чумских и Чапогирских я знаю отчасти из очень кратковременных и немногочисленных личных встреч, а большею частью из рассказов М. М. Суслова и служащих на фактории Виви и Тура. Приангарские и Эрбогучанские тунгусы, несколько раз мельком поминаемые в моей работе, известны мне лично. Через Приангарье я проезжал, возвращаясь из Туруханского края, а в Эрбогучан я ездил со специальной экспедицией зимою в 1921 году от Ленского Союза Кооперативов. Таковы источники моих сведений о тунгусах Енисейского бассейна.

Три точки зрения при изучении пищи.

Пищу тунгусов, мне кажется, можно изучать с точки зрения антропо-географической, этнологической и историко-культурной.

Антропо-географическое изучение тунгусов—изучение культурных усилий человека в лоне природных условий, побуждает сделать физико-географическую характеристику районов обитания тунгусов.

Общим влиянием для всех тунгусов: Илимпийских. Чумских, Чапогырских, Куркагирских и Чандарских—является наличие тайги, сплошной ковер который раскинулся от Ангары до притундренной полосы по берегам Ледовитого моря. Жизнь в лесу создает всем тунгусам внешне-одинаковые условия для ведения хозяйства. Илимпийцы, чумцы, панкагирцы, чапогырцы и чаноарцы занимаются охотой, рыболовством и оленеводством. Для всех этих тунгусов основные продукты питания и формы пищи одинаковы. Все тунгусы питаются оленьим мясом, рыбой и растительной пищей. Сравнивая главные кушанья тунгусов и хотя бы их соседей якутов или обитающих в пределах Иркутской губернии и Забайкалья бурят, мы увидим большую разницу, обусловленную различными формами хозяйства. В противоположность молочным продуктам, доставляемым скотоводством, у тунгусов в каждом кусочке пищи чувствуется бродячая, охотничья жизнь. Исключительное уменье пользоваться оленьим мясом, разборчивость в нем, наличие терминологии, связанной с отдельными частями тела оленей и сортами мяса и жиром, говорит о большом бытовом значении оленя—об его исклю-

чительно выдающемся положении в питании тунгусов. Большую разборчивость тунгусы проявляют и по отношению к рыбе, которая для них, бродячих охотников. временами является важным подспорьем к существованию. Отсутствие умения использовать оленье молоко, иначе как для употребления к чаю, свидетельствует об отсутствии у тунгусов взгляда на своих оленей, как на молочный скот; на оленей смотрят исключительно, как на средство передвижения и на живой мясной резерв.

Мясо, рыба, молоко к чаю—основные продукты питания для всех тунгусов правого берега Енисея [1], поскольку речь идет о получении тунгусами продуктов питания от главных отраслей своего хозяйства. Но кроме общих черт в питании, свойственных всем тунгусам, пища некоторых тунгусских групп характеризуется особенностями, отражающими различие физико-географических условий Туруханского края. Хотя повсюду, где только живут в Туруханском крае тунгусы, они занимаются охотой, рыболовством и оленеводством, но не везде эти отрасли хозяйства имеют одинаковое значение. Различные комбинации по значению охоты, рыболовства и оленеводства, обусловленные различием физико-географических условий, дают населению различные продукты питания. В недрах каждой отдельной отрасли хозяйства также существуют различия: охота в одном месте направлена на одних животных, в другом—на других, оленеводство местами крупное—по несколько сот голов, местами количество оленей у отдельных хозяйств не превышает десятка.

Илимпийская тундра—район обитания Илимпийских тунгусов не вполне отвечает географическому представлению о тундре. Отдельные клочки почвы, лишенные леса и поросшие только мхом и кустарником, разбросаны пятнами среди сплошной лиственичной тайги. Березы в лесах Илимпийской тундры так мало, что она зовется там у тунгусов русским деревом, а ель встречается только по склонам гор. Леса Илимпийской „тундры“ менее богаты белкой, чем южно-таежная полоса, но зато в них встречаются песцы и, кроме того, еще несколько десятков лет тому назад много водилось диких оленей и сохатых. Охота вследствие этого направлена отчасти на белку, отчасти на песца, отчасти на крупных жвачных животных, которые промышляются и из-за шкуры и из-за мяса. Дикого оленя было очень много лет 40—50 тому назад. М. М. Суслов помнит те времена, когда тунгусы с наступлением первых проблесков весны кончали охоту на белку и песца и шли на „кам-

[1] На левом берегу Енисея живут многочисленные представители тунгусов—осколки главной массы, расположенной на правом берегу.

ни“ гоняться за „дикими“ (так сокращенно называют тунгусы дикого оленя). Во времена Суслова (лет 40—50 тому назад) тунгусы почти по целым годам не употребляли хлеба; оленье мясо им заменяло все.

Количество домашних оленей в Илимпийской тундре велико. Наличие оленьего корма, отсутствие гарей, умеренно глубокие снега дают возможность содержать большое количество домашних оленей. По количеству домашних оленей илимпийцы занимают первое место среди тунгусов Туруханского края. Между ними встречаются владельцы стад в тысячу и больше голов.

В Илимпийской тундре много озер, из которых крупнейшие: Агаты и Вивн. Много рек, текущих в Н. Тунгуску, прорезают леса Илимпийской тундры, из которых наиболее значительные: Северная, Вивн, Кочечума. Наличие большого количества рыбы в водных бассейнах Илимпийской тундры дает возможность илимпийцам широко заниматься рыбным хозяйством.

Таким образом, три главных отрасли хозяйства занимают в быту Илимпийских тунгусов почти одинаковое значение.

Не так обстоит дело в других районах. Тунгусы, живущие по берегам Н. Тунгуски: чумцы, панкагирцы и чапогырцы, находятся в несколько иных условиях. Дикого оленя в районах их кочевий меньше, сахатые почти выбиты. Только в устье р. Таймуры еще встречаются оба вида этих животных. Охотники бьют почти исключительно белку, которая, не обеспечивая населения мясом, принуждает его обращаться за пищей к русским. В хлебе тунгусы Илимпийской тундры нуждаются меньше, чем тунгусы с Н. Тунгуски. Когда в 1921 году фактория Северная стала закупать для себя оленей, она могла приобрести их у Илимпийских тунгусов только в обмен на чай, к которому они очень пристрастились. Что же касается хлеба, то, перестав его получать от русских, илимпийцы смогли перейти на оленье мясо, запасы которого у них были значительны в виде домашних и диких оленей. Чумские, панкагирские и чапогырские тунгусы, перестав снабжаться русскими, принуждены были употреблять в пищу домашних оленей, которых они и съели в течение 2—3 лет. Вот почему почти все тунгусы, живущие по берегам Н. Тунгуски, теперь почти безоленны. Сама по себе река эта для крупного оленеводства очень удобна. По берегам много оленьего корма, леса не тронуты гарями, а снега там еще менее значительны, чем в Илимпийской тундре. До экономического кризиса 1919—22 г.г. обитатели Н. Тунгуски имели оленей по многу. Среди них встречались хозяйства, насчиты-

вающие, как и в Илимпийской тундре, по тысяче и более голов оленей. Главная причина безоленности тунгусских родов с Н. Тунгуски—отсутствие мясного резерва в виде диких оленей. В настоящее время оленьим мясом чумцы, панкагирцы и чапогырцы только лакомятся, основой же питания является хлеб, получаемый от русских. Рыбы тунгусы этого района тоже добывают мало, ссылаясь на то, что ею бедны их реки и озера.

Тунгусы междуречья Нижней и Подкаменной Тунгусок находятся в несколько иных условиях. Район их покрыт густым смешанным лесом, который, в противоположность лесам Илимпийской тундры, очень разнообразен видами деревьев. Чем ближе к Подкаменной Тунгуске, тем больше попадается кедров, пихты, много встречается березы. Сосен мне не приходилось видеть до тех пор, пока мы не перевалили на левый берег Подкаменной Тунгуски. Тайга испещрена, правда, болотцами, пустырями и озерами, но оленьего корма в районах, прилегающих к Подкаменной Тунгуске, много, хотя добраться до него нелегко, потому что снега там выпадают огромные—достигают местами до $1^1/_2$ сажен толщиной. Местами мох испорчен гарями и сильно вытоптан людьми и оленями. Чем ближе к Подкаменной Тунгуске, тем все населеннее делается край. Условия для оленьего хозяйства, таким образом, у тунгусов Куркагирского рода не особенно благоприятные.

Тем не менее оленье мясо для них является всетаки более существенной частью питания, чем, например, для тунгусов с Н. Тунгуски. Дикого оленя, правда, мало по берегам Подкаменной Тунгуски, а кое-где „и в заводе нет“, сахатый тоже встречается редко и не везде. Промышляют главным образом белку и отчасти соболей. С Подкаменной Тунгуски легче добраться до русских, чем с Нижней. Когда расстроилось во время экономического кризиса в государстве продукто-снабжение туземцев, Куркагирские тунгусы смогли сами выходить к русским поселкам покупать муку. Возможность пользоваться мукой, обусловленная сравнительной близостью куркагирцев к русским, оказалась причной, по которым тунгусы не съели своих домашних оленей. Больших стад по тысяче голов, подобно илимпийцам, куркагирские тунгусы не могут держать в своих сравнительно густо населенных лесах, испорченных гарями и истоптанных ее обитателями и засыпанных глубокими снегами. Рыбу куркагирские тунгусы промышляют и летом сетями, и зимой через лед палками с трезубцем, но большого значения в их питании она не имеет.

Таким образом, у самих северных тунгусов—илимпийских главнейшими элементами пищи будут: оленье мясо, рыба и хлеб,

как очень важное подспорье; у чумцев, панкагирцев и чапогырцев—хлеб, как основа питания и, как лакомство, оленье мясо и рыба; у куркагирцев—на первом плане хлеб, потом почти в уровень с ним оленье мясо и, как лакомство, рыба.

Природа, обуславливающая формы хозяйства, определяет основные продукты питания. Там, где тунгусы лучше обеспечены оленями, они сохранили большее разнообразие в приготовлении мяса; где они питаются главным образом хлебом, они умеют искуснее использовать муку и т. д. Понять причину существования у отдельных тунгусских групп тех или иных видов продуктов и форм пищи, можно только приняв в соображение и физико-географическую и этническую среду.

Этнологическое изучение пищи тунгусов познакомит с соседними культурными влияниями, сказавшимися на формировании тунгусской культуры. Соседями тунгусов в пределах Туруханского края на правом берегу Енисея являются русские, якуты и самоеды. Долгане—переходная ступень между тунгусами и якутами.

Анализ пищи дает наиболее яркий материал для установления распространения соседней культуры. Всюду, где тунгусы подвержены русскому влиянию, они не только говорят по-русски, но и пекут хлеб. Чем дальше на север, тем меньше слышится в тунгусских чумах русская речь, тем реже печется на сковородах лепешка. По Подкаменной Тунгуске тунгусы из муки умеют приготовлять не только лепешки, но и кислые русские хлебы. Обыкновение покупать дрожжи и печь хотя и плохой, но всетаки „кислый“ хлеб у тунгусов Н. Тунгуски вскрывает старое русское влияние—результат деятельности миссионеров.

Якутское влияние захватывает северо-восточный угол Туруханского края. Наиболее объякучены тунгусы в районе озера Ессей, в меньшей степени—в Илимпийской тундре, но отзвук якутской культуры чувствуется не только на чапогырцах, но и на панкагирцах и даже на чумцах. И подобно тому, как хлеб повсюду сопровождает русскую речь, так повсюду, где живут наиболее объякученные тунгусы, распространена лиственичная заболонь. В Туруханском крае это относится главным образом к озеру Ессей. Якутская беднота поедает заболонь в огромном количестве, так что Маак решается даже назвать их дендрофагами. Разборчивость в сортах и сравнительная разработанность приемов приготовления заболони у якутов свидетельствуют о большом значении ее в пище якутов. Проникновение сосновой заболони в культуру соседних якутам народностей—факт, свидетельствующий о несомненном якутском культурном влиянии.

Якутское влияние на северных тунгусов сказалось во всех областях жизни. В названиях частей одежды (хуторо—тунгус. суторо—якут), в терминах жилища (голомо—тунгус, колыман—якут, палага—тунгус, балага—якут) проскакивает много якутских слов; пища не является исключением. Не якутского ли происхождения будут такие слова, как: нимин—похлебка с примесью крови, будумин—похлебка с примесью муки? (Слово „мин" по-якутски—„суп", „навар").

Сравнение пищи тунгусов с пищей якутов дает возможность представить, насколько обе культуры самостоятельны в своем развитии и в какой степени одна находится под влиянием другой: что перенято тунгусами от якутов и что, в свою очередь, позаимствовали якуты от тунгусов.

На примере пищи видно, что тунгусская культура при всей ее расплывчатости отличается все-таки большой устойчивостью. Приемы разборки туши оленя, например, одинаковы на протяжении от Илимпийской тундры до Подкаменной Тунгуски; совпадают даже подробности вплоть до хранения крови в желудке, до последовательности в отделении ног от туловища и т. д.

Пытаясь характеризовать пищу тунгусов с точки зрения ее этнической оригинальности, про нее можно сказать, что, в противоположность молочному скотоводческому уклону у якутов, тунгусская пища отражает на себе охотничью культуру. Оригинальной особенностью тунгусов по отношению к пище является их щепетильность к запахам и свежести пищи. В противоположность якутам, пьющим мутную, грязную, вонючую воду, тунгусы для питья пользуются исключительно свежей водой; всякий запах от мяса, говорящий об его несвежести, тунгусам противен. Тунгусы не едят даже посоленое в бочках мясо, которое пытались продавать им русские на факториях, считая его гнилым—„кислым". По той же причине они не едят соленую рыбу. Запах мяса, начинающего подгорать на вертеле, вызывает у тунгусов отвращение. Данные о брезгливости тунгусов к запахам, мне кажется, должны уничтожить предположение, что именно они научили якутов пользоваться квашенной в ямах рыбой, так называемой „сымой", которая вызывает тошноту и отвращение у русских.

Историко-культурный подход к изучению пищи тунгусов рассматривает пищу, как бытовое явление, характеризующее степень культурности народа. Пища, как и всякое бытовое явление, не укладывается в рамки одной категории быта. Она—не только явление из области материальной куль-

туры, но связана многочисленными нитями и с народным мировоззрением в частности с магическими представлениями. Поскольку я располагал материалом, я пытался при изложении отделов пищи отмечать эту связь.

Мясная пища.

1. Оленье мясо.

Домашний и дикий олень. Мясная пища состоит, главным образом, из мяса диких и домашних оленей. Домашний олень по-тунгусски—„орон“, дикий—в илимпийском, панкагирском, чепогырском произношениях—„боюн“, в кежемском произношении—„бакдак“.

Диких оленей на всем протяжении от Илимпийской Тундры до южных границ Туруханского края в настоящее время сохранилось немного: в сравнительно большем количестве встречаются они в лесах так называемой Илимпийской тундры, попадаются дикие олени в низовьях реки Таймуры; в междуречье Нижней и Подкаменной Тунгусок их почти совершенно нет. Чем ближе к Подкаменной Тунгуске, тем дикого оленя меньше, а по берегам самой реки он совершенно не встречается. Домашними оленями наиболее богаты Идимпийские тунгусы.

Тунгусы находят, что дикий олень чище домашнего. Такое отношение к оленям объясняется тем, что домашний олень ест и человеческую мочу и кал. Относясь к мясу домашнего оленя как к второстепенному сорту, тунгусы не едят содержимое желудка домашнего оленя, в то время как у дикого оленя содержимое желудка вытряхивается и употребляется в пищу.

Мясо дикого оленя любят больше еще и потому, что оно пахнет дичиной. Мясо дикого оленя сушат, из него готовят так называемую „уликту“; из мяса домашнего оленя „уликту“ не приготовляют.

Оставшиеся кусочки от мяса дикого оленя считаются лакомством. Когда приезжает гость, его угощают прежде всего не мясом домашнего оленя, запасы которого могут иметься в изобилии, а кусочками, оставшимися от туши дикого оленя.

Тунгусы не брезгуют мясом больных оленей. Я был свидетелем, когда тунгусы пользовались мясом оленя, убитого из-за болезни. У тунгуса Панкагирского рода Василия Алек-

сандровича чем-то заболел олень: плохо ходил и ничего не ел. Василий решил убит его на мясо. Когда я спросил, не вредно ли есть мясо больного оленя, он даже засмеялся; „нет, совсем нет; тунгус всегда ест—такой вера".

Убой оленя и разборка туши. Существуют особые приемы убивать оленей. Убивают оленя ударом узкого тонкого ножа в лен (некемня).

Чтобы кровь не вытекала наружу, рану затыкают травой или мохом. Убивать оленя, перерезая горло, считают грехом. Иногда бьют в сердце, оставляя в нем воткнутый нож: наощупь определяют, где находится сердце, и с размаху ударяют ножем. Если нож запрыгает, догадываются, что попал в сердце.

У убитого оленя кровь стекает в полость живота. Когда все внутренности вынуты, полость остается наполненной только кровью. Убив оленя, сразу же стараются снимать шкуру. Если оставить оленя не очищенным и не рознятым на части хотя бы на одну ночь, то мясо делается затхлым от разложения внутренностей.

Снятие шкуры начинается с надрезов. На шкуре у самого окончания головы делается надрез кругом. Потом такие же надрезы на четверть выше колена на ногах, потом вдоль живота. Если шкуру готовят для выделки ровдуги, то распарывают по хребту, если же для постели или для одежды,—по животу. Сдирают кожу первоначально при помощи ножа, которым отделяют мездру от мяса. Когда некоторая часть кожи содрана с туши, нож откладывают в сторону и действуют только руками. Левой рукой отдирают шкуру, а кулак правой руки всовывают между шкурой и мясом.

Когда шкура снята, начинается разбор мяса. Прежде всего делают продолговатый надрез вдоль хребта. Надрез этот делается вершка в два ширины, снимают ленты мяса и справа и слева от хребта. Под верхним слоем мяса находятся жилы, которые употребляются для шитья. Под ними находится самое нежное, самое вкусное мясо, которым пользуются при приготовлении особого кушанья—„саламат".

Михаил Михайлович Суслов так рассказывает о дальнейшем порядке разбора туши.

Олень лежит на левом боку. Первоначально отрезается передняя нога, совсем с лопаткой. Потом делают надрез на животе у окончания ребер. Потом снимают „рубашку", облегающую желудок, которую слегка протыкают или надрывают пальцами для того, чтобы ее удобно было откинуть на сторону

Потом всовывают в полость живота через маленький прорез нож, зажатый в кулак, и, упершись кулаком в желудок, острием ножа прорезают стенку живота. Кожу отгибают в сторону. Когда живот раскрыт, осторожно вынимают желудок и кишки. За кишками вынимают печень, потом вскрывают перепонку, отделяющую легкие и сердце от желудка и кишек. Скопившаяся в передней части туши кровь разливается по всей полости живота. Делают ножем продольной разрез по груди и вынимают сердце и легкое вместе с горлом. Выливают из желудка содержимое и черпают в него ковшем кров. Потом рожном (заостренной палочкой) зашнуровывают прорез на желудке. Отделяют четыре первых (от хвоста) ребра, а за ними и все остальные длинные ребра. Коротенькие шейные ребра остаются. Отнимают правую заднюю ногу. Потом отрезается грудина, потом отнимается голова. Тушу переворачивают на другой бок. Отнимают две другие ноги, отделяют зад, отделяют ребра с другой стороны. Остается одна передняя часть хребта. Рознятое на части мясо втаскивается в чум.

Приведенное описание разборки туши относится к тунгусам Илимпийской тундры.

Мне пришлось видеть, как свежевали только что убитого оленя тунгусы Куркагирского рода, обитающие между Нижней и Подкаменной Тунгусками. Богатый тунгус Кардуя убил оленя. Я пришел, когда шкура была уже снята, и две девицы Матерья и Любгорек возились над дальнейшей разборкой.

Олень лежал на боку. Из прорезанного живота вытащили огромный желудок, кишки, легкое и сердце. Потом живот оказался наполненным только кровью. Матерья подала Любгорэк часть желудка, очищенного от содержимого. Любгорэк с одного конца сколола его палочкой и стала держать желудок, а Матерья—черпать кровь лодочкой, сделанной из только что отрезанных ребер, которые, соединенные друг с другом кожей, образовывают очень удобную черпалку. Прежде чем черпать кровь, Любгорэк потискала руками все части тела оленя, чтобы из них побольше набежало крови. Прежде чем черпать кровь в желудок, она еще взбила кровь руками, заставив ее немного пениться. Когда желудок был наполнен, его закрыли, прошнуровав палочкой и воткнув ее в землю. Стали у оленя отрезать передние и задние ноги, одновременно стали выдирать пласты мяса с хребта. Повернули оленя на другой бок. Опять предварительно отрезали ребра. Первоначально их подрезали, потом отломили. После ребер отрезали ноги. Около спинного хребта осталось много хорошего жирного мяса; его рознями

на две части, разрезав хребет при помощи ножа пополам. Когда разборка была кончена, мясо начали таскать в чум и частью развешивать на березке, стоящей поблизости жилища.

В продолжении всей работы по разборке оленя топор совершенно не применяется. Ни одна часть оленя, за исключением головы, не рубится. По словам М. М. Суслова, иногда рубят только ляжки. Все суставы, не исключая шейных, соединенных особенно крепко, разнимаются ножем.

Название частей. Задняя часть хребта с хвостом называется—„кундуки"; таз с чашечками задних ног называется—„дулки"; грудина без ребер—„тынен", шейная часть оленя - „миван". Передняя нога (все равно правая или левая) - „ночу холган", задняя нога—„амаргу холган", ляжка—„умоки" (буквально обозначает мозговая кость, от слова „ума"—мозг). Так же называется и нижняя часть ноги. Сердце—„меван". ребра—„оптыля", спинной хребет—„дарама", хребет в целом—„икари". Оленья шкура—„ирекса". Кожа с ног (камас)—„оһа", кожа с головы—„мета".

Большая часть приведенных терминов относится к тунгусам Илимпийской тундры. Мне известно только, что по крайней мере некоторые из них совпадают с аналогичными названиями Панкагирских и Кежемских тунгусов. У всех тунгусов сердце будет „меван", камасы—у Кежемских, согласно общей особенности их говора,—„оша".

Сорта мяса. Самым ценным, самым лакомым мясом считается то, которое вынимается из-под жил у спинного хребта. Его никогда не варят; мясо это употребляют только на саламат или жарят на вертеле; называют его „хогда". Любят также грудину, которой угощают гостей. Ценится „кундуки". Очень любят язык, который нередко подают к чаю.

У тунгусов редко случается, что мясо они сберегают долгое время. Когда зимой убьют оленя, его съедают очень быстро, в несколько дней. Конечно, отдельные части зимой перевозят в замороженном виде в сумах. На лабозах мороженое мясо оставляется обычно только в тех случаях, когда после удачной охоты удастся за раз убить несколько диких оленей или сохатых.

Сорта жира и его употребление. Жир по тунгусски—„имукса". Жир откладывается у оленя на заду, часто в таком большом количестве, что заростает даже хвост. Покрывается жиром, иногда очень сильно, спина, так что по хребту проходит узкая ложбинка. Жир откладывается

на брюшной рубашке и на почках. Жир снимается со спины оленя („скундуки“) пластом и употребляется в пищу. Вообще жир употребляется в следующих видах: 1) его жарят кусочками на вертеле, 2) топят и пекут на нем лепешки, 3) кладут в мясо и жарят вместе, 4) употребляют сырым в мерзлом виде, 5) примешивают к рыбе, предварительно растопив его на огне, 6) примешивают к сушоному мясу.

Мне приходилось, кроме того, видеть, как Куркагирские тунгусы ели жир с чаем. Растопленный жир по своей форме напоминал сковородку, в которой его топили и замораживали. Куски растопленного сала кололи на маленькие части и ели с хлебом. Ели его, как масло, предварительно опять растапливая на сковородке. Лепешки при этом были изорваны на мелкие кусочки. Лепешки подогрели на огне и напитали жидким салом; в дальнейшем лепешки ели постоянно обмакивая в жидкое сало.

Кости. Кости убитого и съеденного оленя, как домашнего, так и дикого, в особенности жирного, складываются в турсук. Валят туда и ребра и берцовые кости и т. д. Когда нестанет мяса, берут камень и размельчают на нем кости ударом по нему обухом топора. В полученный порошек наливают воды и ставят на огонь. Варят почти пелый день. Получается слой сала, пальца в два, который употребляют на жарение лепешек или подают кусочками к чаю. По словам русских, такое сало довольно вкусно.

Кишки. Кишки по-тунгуски—„хилюкта“. Кишки убитого оленя женщины сразу же при помощи правой руки наматывают кольцами на левую руку. Потом ударом ножа по свешивающимся кольцам кишки разрезаются на небольшие отрезки. Содержимое из них выжимается. Выжатые отрезки кишек женщины надевают на палочки и макают в кипящий котел с мясом. От такого приготовления кишки свертываются и делаются похожими на хрящи. Едят их сразу по приготовлении.

Заднепроходная кишка жирного оленя вынимается особо. Ее выворачивают и сушат над огнем на шестах. После того, как она будет вывернута, сало, облегающее кишку снаружи, окажется внутри, получится вид колбасы. Едят такую кишку, отрезая маленькими кусочками и поджаривая.

Мне приходилось у Куркагирских тунгусов видеть несколько особое приготовление кишек. Кишки и там очень любят. Как только олень был убит, женщины начали поспешно вычищать кишки. Потом эти кишки варились в котле, а часть их жарилась на палочках. То и другое ели как лакомство, находя настолько вкусным, что усиленно угощали меня—гостя.

Мозги. Головной мозг вынимается, кладется в чашку и поливается сверху бульоном; едят его ложкой, отделяя небольшие кусочки. Наиболее чистым считается мозг внутренних костей. При топлении он дает осадок. По уверениям тунгусов, чем кости у животных ниже расположены, тем мозг лучше. Таким образом мозг в бабках ног считается наиболее вкусным. По замечанию тунгусов, мозг так же вкусен, как масло, но другие оспаривают, говорят, что мозг еще вкуснее. Костный мозг едят, рассекая кость ножем и вытряхивая из нее содержимое. Костный мозг считается, видимо, очень большим лакомством. Я не помню ни одного случая, когда бы тунгусы, разбив при мне кость, не начинали меня угощать мозгом. Приходилось видеть, как тунгусы, очень ловко разбив кость и сбив с нее верхнюю половинку, из нижней половинки, как из желобка, пили мягкий от чумного жара мозг.

Голова. Голова по-тунгусски—„дыль“. По уверениям Суслова, голова особенно почетным кушанием не считается. В ней любят только язык. С головы сдирают кожу (мета), отделяют челюсть с языком. Остальную часть головы рубят топором пополам (Илимпийские тунгусы).

У Панкагирских тунгусов я видел следующий порядок разборки головы. Первоначально хозяйка отрезала кожу на голове от лба, вдол по носу до самых губ и разрезала ножом самые губы. Потом начала сдирать кожу, начав работу опять со лба. Когда голова была очищена, хозяйка ударила топором по затылочной части и отшибла небольшую часть кости в виде щепочки. В образовавшееся отверстие она просунула руку и вынула мозг.

Язык. Язык—„чоли“—наиболее вкусная часть оленьего мяса; оленьи языки нередко сохраняются, как угощение для гостей. Едят их в вареном виде. Языки диких оленей коптят впрок. Можно отваривать и прокопченые языки.

Рога. Если оленя колят летом, то прежде всего снимают рога („не“), на огне опаливают шерсть, которая покрывает рога летом, а самый хрящ поедают тут же. Грызут хрящ зубами, помогая себе ножем. Роговой хрящ так любим тунгусами, что некоторые лакомки решаются обрезать рога у живых оленей. предварительно перевязав часть рога, находящуюся ниже предназначенных к отрезу веток, поверх оболочки жилами. Из пор порезанного рога кровь бьет фонтаном. Рога летом настолько мягки, что их удается срезать одним ударом ножа. Роговая оболочка, снятая с живого оленя, вкуснее и нежнее. Случается, что рога оленей плохо перетягиваются жи-

лой; в таком случае они нередко загнивают и олень пропадает.

Разные части. Горло—„монон“,—съедают сырым. Капыта—„кокчан“—также идут в пищу. Их кладут в кипяток, отчего роговая оболочка делается мягкой и снимается легко. Оставшийся хрящ и жилы съедаются в сыром виде. Раскалывают бабки и съедают мозг, заключенный в них, который считается особенно вкусным. Сырым съедают также хрящ носа у головы оленя. Очень любят есть в сыром виде печень, которую хвалят, особенно когда она мерзлая. Тунгусы говорили мне, что мерзлая печень по вкусу им напоминает рыбу. Мне приходилось видеть тунгусов, поедающих печень всегда с солью Легкое—„апта“—в пищу не употребляется: оно считается невкусным и обычно бросается собакам. Глаза—„эlha“—осторожно вынимают и, по уверениям М. М. Суслова по отношению к Илимпийским тунгусам, бросают. Когда их вынимают из орбит, то стараются их ничем не проткнуть и не перерезать нервов. Мне приходилось у Панкагирских и Куркагирских тунгусов видеть очень бережное обращение с глазами. Они вынуты были вместе с нервами и с кусочком окружающей их кожи и висели несколько дней в чуме, засунутые за одну из жердей. Когда происходила кочевка, глаза укладывались в сумы, а потом вечером, когда снова разбивался чум, их опять прикрепляли на прежнее место. Не едят глаза домашних оленей тунгусы, видимо, по соображениям религиозного характера. Глаза диких оленей, по рассказам Панкогирских тунгусов, можно есть.

Таким образом, из тела домашнего оленя люди не едят только легкие и глаза. Не употребляются в пищу и половые органы.

2. Употребление оленьего мяса.

Оленье мясо употрелляется в сыром, вареном, жареном и сушеном видах. Пользуются тунгусы и кое-какими мясными похлебками. Приготовляют из мяса и сравнительно сложные кушанья.

Мясо в сыром виде. Мясо оленье тунгусы очень любят в сыром виде. Особенно много сырого мяса едят сразу после убоя оленя.

Отрезанные у оленя ноги женщины втаскивают в чум. Они отрезают ляжки от остальных частей ноги таким образом, чтобы мужу было удобнее с них снять камас. Муж разрезает кожу от капыта вверх по задней части. Потом постепенно

отдирает кожу, отделяя мездру от мяса ножичком. Когда отнята первая часть ноги—ляжка, остается две части. В нижней части ноги мяса нет—только сухожилья, кожа и кости. Со второй части он также снимает кожу. Копыта отделяются от ноги и их кладут, как сказано, в кипяток. Мужчина, взяв верхнюю часть ноги в руку, начинает отделять ножем мускулы и есть их. Ухватив зубами сухожилие и мускул, он оттягивает от себя кость и ударом ножа отделяет кусок мяса. От позвоночного хребта срезаются почки и съедаются, обычно вместе с сырой печенью. Потом кладут в котел все ребра и спинной хребет, рознятый ножем по суставам. Кладется в котел и сердце, хотя сердце не особенно любят, так как оно твердо.

Мне несколько раз приходилось видеть, как пировали тунгусы в день убоя. Я видел такие пиршества и у Панкагирских и у Куркагирских тунгусов. И те и другие прежде, чем начать варить мясо, ели его в большом количестве сырым. С ног снимали камас, ели сухожилье и мускулы. Некоторые тунгусы окончательно мясо от кости не отделяют, а надрезав его с одного конца, сдирают в виде лент к другому концу и затем приближая кость к огню, дают возможность жилам свернуться.

Варка и жарение. Тунгусы употребляют мясо чаще всего в вареном виде. Варят мясо, обычно не доваривая, так что иногда из него сочится даже кровь. Мясо переваренное тунгусы не едят, находя его не вкусным.

Тунгусы жарят мясо главным образом на вертелах. Берут палочку, застрагивают с одного конца и поддевают на нее предназначенный к поджариванию кусок мяса. Такого рода поджаренное мясо называется—„хелявун“. Выбирают мясо или из ног (из ляшек) или других частей животного, которое считается наиболее вкусным. Тунгусы различают, какие части животного требуют продолжительного жарения, какие, наоборот, нужно поджаривать слегка. Мясо очень близко к огню не ставят, чтобы не дать ему подгорать. Запах горящего мяса, как сказано, вызывает у тунгусов отвращение. Много раз мне приходилось видеть, как тунгусов передергивало от чуть ощутимого запаха гари. С криком—„вонь!“ они выдергивали вертел из огня и отставляли дальше. Мне приходилось также видеть, как жареное или вареное мясо, поданое женщинами, находящимися в чуме, разрезалось на маленькие куски и потом употреблялось в пищу при помощи палочек, которые заменяли вилки. Если под рукой оказывались мозговые кости, их расшибали, мозг вытаскивали и, разрезав на маленькие кусочки, клали поверх накрошенного мяса. Чаще мясо ели. разрезав его предварительно

на большие куски. С одной стороны, кусок держит зажатым в руке, с другой—за него ухватываются зубами и свободной рукой ударяют ножом с таким расчетом, чтобы в зубах остался маленький кусочек.

Сушение. На сушение идет только мясо дикого оленя. У дикого оленя обычно для этой цели пользуются мясом ляшек. Мясо режут первоначально на полоски, потом сразу на куски и сушат в чуме на решетках. Когда эти кусочки достаточно подсохнут, их ссыпают в берестяные коробки-сумки—„потакун“, в которых они и хранятся. Хранясь в потакуях, кусочки постепенно крошатся и в конце зимы превращаются в порошок. Такое сушеное раскрошенное мясо называется „уликтой“. Едет уликту или с салом или с чаем.

Похлебки. Когда варят мясо, то в котел не кладут ничего, кроме него. Мясо проваривается слабо, так что навару почти не образуется. Этим бульоном тунгусы мало интересуются. Когда варят очень жирное мясо, то жир скапливается на верху. В него, по рассказам, макают свареное мясо, прежде чем его есть. Приходилось мне также слышать разсказы о том, что такой жир собирают ложкой и сливают в особую посуду, где он постепенно остывает, превращается в сало; этим салом в дальнейшем пользуются, когда едят сушеное мясо или рыбу.

Самый бульон некоторые тунгусы просто выливают на снег. Чаще же его пьют как чай. Бульон наливают или в ковшики или в тарелки или в стаканы и кружки. В зависимости от того, во что он налит, его или пьют через край, или едят ложками. Мне приходилось видить, как тунгусы, налив бульон в стаканы, разливали его потом в блюдца и пили как настоящий чай. Хлеб в таких случаях заменялся вареным мясом. Выпив стакан его молча отдавали женщинам, чтобы они снова наполнили.

Некоторые тунгусы заправляют бульон оленьей кровью. У Илимпийских тунгусов такое кушанье называется—„нимин“. Самый бульон Панкагирские тунгусы, Куркагирские и Илимпийские называют—„херба“. У Панкагирских тунгусов я видел кашу—„heле“ . Собственно это даже не каша, а нечто среднее между кашей и супом. Когда „херба“ осталась от ужина, в нее стали покладывать кусочки мерзлой оленьей крови и подсыпать муку. То и другое непрерывно мешалось. Полученное кушанье большинство присутствующих ели ложками. Те, кому не досталось ложек, ели кушанье через край тарелок. Оно было настолько жидким, что его можно было пить. Женщины, которым нехватало тарелок, пили эту кашу через край котла и сильно пачкали себе лицо и руки.

„Силя“—каша, сваренная из воды, муки и крови с примесями кусочков мяса. Богатые тунгусы говорили о ней, что она годна в пищу только в тех случаях, когда нет ничего лучшего—нет достаточно мяса, ни рыбы. Тунгусы бедные и средней зажиточности смотрят на „силя“ как на кушанье вкусное и питательное. „Силя“, как и „нимин“, занимает среднее место между кашей и супом. Большинство тунгусов при мне ели ее ложками.

Боюрн. Кровь только что убитого весной или летом оленя сливают в большой желудок. Сверху получается нечто вроде пены. Ее сливают в маленький желудок. Потом туда же подливают молоко и, завязав желудок, варят полученную смесь. Варят в особом котле около часу. Содержимое в котле постепенно сильно сгущается. По окончании варения желудок вытаскивают из котла и сдирают с сгустившейся массы кожу желудка. Получается вещество, похожее на белый хлеб. Смесь эта, сгустившись, делается пористой и, по словам тунгусов и русских, вкусной. Готовят боюрн только летом—в тех случаях, когда приходится убивать оленей. Зимой не приготовляют, видимо, потому, что не получается в крови пены, из которой приготовляется боюрн.

Саломат. Берут мясо, находящееся около хребта. Это мясо из-под спинных жил считается самым вкусным и нежным, так как в нем совершенно нет жил. Режут мясо на мелкие куски. Когда собирается много гостей, то добавляют мясо похуже. Потом режут сало, снятое со спины, а также с „рубашки“, кладут все это в котел и варят без воды. Мясо кипит в сале. Такое кушанье, называемое у тунгусов „саломатом“, употребляется на свадьбах или в каких-нибудь других торжественных случаях.

3) Мясо других животных.

Из млекопитающихся в Илимпийской тундре главное место в системе питания, после домашнего оленя, занимает дикий олень. С приближением к Подкаменной Тунгуске его встречаются все меньше и меньше. Из млекопитающихся пользуются для пищи мясом дикого козла, лося и зайца.

Дикий козел. Дикий козел по тунгусски—„дело“. Мясо его употребляют в пищу и считают большим лакомством. Встречается козел в нагорных частях Илимпийской тундры, встречается, хотя и в небольшом количестве, в между-

речье Нижней и Подкаменной Тунгусок. Свежуют его точно так же, как оленя.

Сохатый. Сохатый—„моты"—распространен кое-где по берегам Нижней Тунгуски. В верховьях Нижней Тунгуски в пределах Иркутской губ. его еще не так давно было очень много. Его били в большом количестве и русские промышленники и тунгусы. Потом стали замечать, что сохатого делается меньше. Охотники уверяют, что зверь пошел к Байкалу. Несколько севернее Иркутской губ. сохатый встречался также в большом количестве. На реку Илимпию, находящуюся в прежних пределах Иркутской губ., а теперь являющуюся границей Иркутской губ. и Туруханского края, тунгусы выносили раньше несколько сот сохатиных шкур. Было это в те времена, когда там находилась торговая заимка купца Суздалева. Со времени выезда Суздалева прошло 10-11 лет. Теперь в тех краях сохатых встречается чрезвычайно мало. Объясняют это перекочевкой зверя и усиленной охотой на него. В бассейне Нижней Тунгуски пользуется славой реки, богатой сохатыми,—Таймура. В междуречье Нижней и Подкаменной Тунгусок сохатого вообще немного, но в верховьях некоторых речек, текущих в Нижнюю Тунгуску и в Подкаменную Тунгуску, он встречается.

Из мяса сохатого приготовляют „уликту". Идет его мясо в пищу, так же, как и оленье мясо,—в вареном виде.

Коров тунгусы нигде не держат. С мясом коров они познакомились только теперь через фактории. Быть может, раньше их изредка снабжали этим мясом русские купцы, когда тунгусы выходили к ним на заимки. Тунгусы так и зовут корову испорченным русским словом „короба". Илимпийские тунгусы. по сообщению Суслова, имеют для коровы особое наименование „мочала".

Хищные звери. По уверениям Суслова, Илимпийские тунгусы не едят вообще никаких хищных животных: волков, песцов; не едят также собак и бурундуков. Насколько я знаю по расспросам среди тунгусов Панкагирского рода и тунгусов Куркагирского рода, они также относятся с отвращением к мысли есть мясо этих животных. Один тунгус сказал, что мясо собак употреблять в пищу—большой грех и что-то прибавил про бога, указав кверху.

Медведь. Медведь —„амикан", или „амака". Первое слово обозначает буквально—„маленький отец", второе—„дедушка". В некоторых случаях тунгусы вообще стараются не произносить слова медведь. Говорят, например, просто: „пойду

промышлять"... Нужно понимать в таком случае, что человек направился промышлять медведя. Говорят также: „пойду промышлять сало". Иногда медведя называют описательно: „мохнатый", „черный". Суслов говорит, что ему за все время его пребывания в Илимпийской тундре не приходилось видеть, чтобы тунгусы ели мясо медведя, хотя он не слышал, чтобы по понятиям тунгусов есть мясо медведя считалось грехом. Сколько я ни расспрашивал тунгусов Панкагирского и Чепагирского родов, я не помню случая, чтобы один из моих собеседников сказал, что он ел мясо медведя. В большинстве случаев отвечали отрицательно, говоря, что не ели потому, что им мясо медведя не по вкусу или нездоровится. Куркогирские тунгусы питают к медведю, в большинстве случаев, большой страх. И опять-таки мне не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь из тунгусов ел мясо медведя, хотя в чуме велись иногда разговоры, что мясо медведя вкусно, а сало даже очень полезно.

Белка. Белка у тунсусов Илимпийского, Панкагерского, и Куркогирского родов называется—„улюлки". По словам Суслова, Илимпийские тунгусы белки не едят. Что касается остальных тунгусов, то, по крайней мере, про тунгусов Куркогирских и Панкагерских, я могу сказать, что большинство их ест белку охотно. Не всякую белку, впрочем, едят. Некоторые тунгусы уверяют, что белка „подпаль" и вообще белка, убитая ранней осенью, когда шкурка у ней не вполне „вышла", не вкусная. Мясо такой белки пахнет, по словам тунгусов, керосином или мылом.

Жарят белок, основательно их выпотрошив. Снимают шкурку с белки и чистят ее, конечно, женщины, на которых вообще лежит обязанность приготовлять пищу; чтобы белка хорошенько прожарилась, внутрь ее вставляют тоненькие распорки, которые сильно раздвигают бока белки. Иногда каждое отдельное животное втыкают на особый ражон, иногда две белки укрепляют на одном рожне. Делают это так: распорки, раздвигающие бока белок, переплетают палочкой, которую и втыкают в землю.

У белки считается наиболее вкусной частью зад и—в особенности—задние ноги, которыми часто угощают гостей. Мне никогда не приходилось есть желудка белок, но мне говорили, что он очень вкусен. В особенности, говорят тунгусы, вкусен желудок у белок, питающихся кедром.

Богатые тунгусы белок не едят. Один из тунгусских богачей сказал мне, что сердце у него не хочет белку. Когда я рассказывал, как одно тунгусское семейство угощало меня

белками, дети богача подсмеивались и говорили: „а что, вкусно? Хочешь тебе изжарим белку?“ Говорилось это в виде шутки, которую нужно было понимать в том смысле, что белку они считают кушаньем очень не деликатным и что всякий состоятельный тунгус, у которого есть оленье мясо, есть мясо белки не будет. На свадьбах у тунгусов едят много оленины. Когда я спросил, не едят ли на свадьбах белку, в ответ мне засмеялись и сказали: „какой белка? зачем белка на свадьбе? на свадьбе надо хороший мясо есть, оленя надо кушать, который хороший“.

Заяц. Заяц—„мундукан“—употребляется тунгусами в пищу. Едят его, тем не менее, редко. Промыслом зайца при помощи ружья, я не слышал, чтобы тунгусы серьезно занимались. Не ловят зайца также ловушками, потому что вообще все тунгусы Енисейского бассейна, ведущие настоящую кочевую охотничью жизнь, за исключением Илимпийских тунгусов, которые ловят песцов пастями, ловушек не употребляют. Ловушки некогда смотреть при постоянных передвижениях. Ставят, только очень редко, ловушки на таких животных, шкуры которых в глазах тунгусов представляют ценность, как, например, на рассамаху. Приангарские тунгусы и тунгусы, живущие в верховьях Нижней Тунгуски, как элемент значительно обрусевший, ведут более оседлый образ жизни и частенько занимаются промыслом на зайца ловушками.

Птица. Тунгусы Приенисейского бассейна промышляют хотя и случайно, глухарей—„хараки“, куропаток—„херяки“, уток—„ники“, гусей—„нюмняки“. Птицу эту промышляют осенью до начала промысла и зимой, когда случайно, бродя за белкой, на нее нуткнутся. Гагар бьют, но мясо их в пищу употребляют не охотно. Орла—„гуш“—не едят совершенно; не едят также мясо ворона—„оли“.

Всю птицу, употребляемую в пищу, кроме куропаток, варят и жарят. Жарят в тех случаях, когда птицы убито немного. Когда птицы набито значительное количество, ее варят в котле. Перо и пух у птицы начисто выщипывают, но никогда не опаливают, считая последний прием грехом. Куропаток обычно жарят на вертеле. Предварительно их потрошат, внутренности выбрасывают, голову отрезают.

У тунгусов существуют несколько своеобразные приемы потрошить птицу. Мне приходилось видеть у тунгусов Панкагирского рода, как женщины потрошили глухарей. Они делали надрез около шеи, потом начинали за шею вытягивать внутрен-

ности. По бокам тоже делали надрезы. Птица раскрывалась потом, как ящик.

Мне приходилось видеть, как тунгусы ели глухарей не только в вареном, но и в сыром виде,—вернее сказать, ели в сыром виде отдельные части птицы. В то время, как женщины главные части глухаря варили в котле, мужчины ели в сыром виде внутренний жир, положенный перед ними женщинами на тарелки.

Употребляют в пищу также бульон, получающийся от варения мяса птицы. Его пьют, как и бульон от мяса оленя, из стаканов, на подобие чая. Иногда поджаривают на огне верхнюю пузыристую кожу с птицы, снятую с нее до опускания в котел. У гуся снимают с лап перепонки, жарят их на угольках и едят как лакомство.

Рыбная пища.

Рыбная пища для большинства тунгусов, обитающих по Нижней Тунгуске и в междуречье Нижней и Подкаменной Тунгусок, большого значения не имеет. Тунгусы, живущие в Илимпийской тундре, питаются рыбой больше остальных. Панкагирские тунгусы говорили про рыбу, что она для них летом только одно баловство. Никогда до сыта рыбой они не наедаются. По словам тунгусов, рыбу летом промышляют так мало, что, вероятно, на отдельное хозяйство не придется двадцати пудов в течение лета. Тунгусы, тем не менее, очень любят рыбу и охотно приезжают издалека в такие части рек, где можно ею хорошо поживиться. Осенью много тунгусов скапливается на Нижней Тунгуске, у так называемого Уловного Камня. Летом промышляют рыбу большей частью сетями, зимой бьют острогой. Во льду проделывается отверстие, над которым сооружается подобие небольшого чума. Делается это сооружение для того, чтобы рыба не пугалась света. Тунгус сидит над отверстием, держа острогу с трезубцами на конце так, что один конец ее выходит через отверстие кверху.

Тунгусы промышляют окуня — „некочан“, щуку — „гуткочан“, пельдядку—„пеючан“, налима—„хеночан“, осетра—„тана“, стерлядь—„хоняко“, тайменя—„дели“, чира—„мумур“, форель—„майгу“, хайруса—„ниручан“, сига— „хуричан“, карася—„налимпе“. Все эти названия приведены со слов М. М. Суслова и относится к Илимпийским тунгусам. У остальных тунгусов

они приблизительно такие же, разница только в произношении. Так, например, Куркагирские тунгусы, промышляющие рыбу на Каторамбе, налима зовут „шенган“, тайменя—„джали“.

Наиболее вкусной частью рыб считается брюшко—„уркольда“ (Илимп. тунгусы). Иногда оно вырезывается отдельно и съедается сырым. Когда рыбу приготовляют для сушения, брюшки вырезывают особо, сшивают ниткой и коптят. Потом их вывешивают на воздух, чтобы не прогорк жир. Любят также спинную часть рыб, по которой проходят жировые пласты. Спина—„хогдон“ (Илимп. тунгусы). Угощая гостя строганиной, для него вырезывают брюшки из спинки рыб и подают как лакомство. Бока у рыб считаются менее вкусными. „Перья“ рыб обсасывают и бросают. Иногда их варят вместе с остальной рыбой.

Кости—„икари“ („икари“ — собственно скелет; так, например, называется скелет у оленя). Когда с костей содрано тело рыбы для сушения, они складываются отдельно, а потом особо сушатся на солнце. В трудное время из них варят уху.

Кишки все выбрасываются, за исключением желудка, который едят в вареном виде. Исключение составляет окунь, которого обычно не потрашат и жарят на рожне, вместе с внутренностями. Остальные рыбы прежде, чем быть насаженными на рожон, подвергаются потрошению.

Желудок у рыб считается лакомством. Его вырезывают и кладут в котел с остальной варящейся рыбой, а потом едят с особенным удовольствием.

Голова—„дыль“ („дыль“—вообще голова у человека и у животного) употребляется в пищу менее охотно. Хозяин дома обычно ее не ест, а отдает или жене или работнику. Охотно едят рыбьи языки.

Кожу вообще не едят, за исключением некоторых. Кожу тайменя зимой сдирают и из нее пригатовляют клей. Иногда она употребляется в пищу. Содранную кожу кладут на угольки и она начинает от жара постепенно коробиться в трубку. Шелуха, которая после этого счищается очень легко, удаляется руками. Такую тайменью кожу едят с удовольствием. Чешуя—„окикша“—в пищу совершенно не употребляется, ее выбрасывают.

Рыбий жир вытапливают из кишок всех рыб. Жир этот—„люра“—сливается в цельные шкуры рыб, снятые мешком. Жир употребляют в пищу, обычно подмешивая к сушоной рыбе. Иногда, как большое лакомство, его хлебают ложками.

Печень рыб едят не всегда. Очень любят налимью и отчасти щучью печень, которые зимой едят в сыром замороженом виде. Малоки рыб варят в ухе.

Способы употребления рыбы в пищу.

Рыбу едят в разных видах. Едят в сыром, вареном, жареном, сушеном и мороженом видах.

Сырую рыбу едят не только зимой, но и летом. Часто свежую, только что упромышленную рыбу. очистив от чешуи и внутренностей, съедают тут же, совершенно сырой, или слегка поджарив на вертеле. Русские крестьяне Туруханского края также не брезгуют сырой рыбой, которая у них называется „сугудиной". По-тунгусски„ есть сырую рыбу"—„талакаде".

Варят тунгусы всякую рыбу—и крупную и мелкую. Варят рыбу обычно в котле. Получившееся кушанье называется—„херба". Рыбу не любят сильно разваривать. Дают воде вскипеть, и когда рыба немного размякнет, котел снимают с огня. Рыба предварительно чистится и все потроха и чешуя выбрасываются на сторону. В котел кладется, как сказано, один желудок. Самую похлебку, которая, как и мясной бульон, бывает часто довольно безвкускной, потому что самая рыба варится мало, в пищу не всегда употребляют.

Иногда варят особую похлебку из голов. Головы эти предварительно копятся и, когда наступает трудное время, когда нет свежей рыбы и мяса, их кладут в котел и начинают варить. Получается довольно густой навар.

Рыбу жарят чаще всего на вертеле. Жареная на вертеле рыба. как и мясо, зажареное таким же способом, называется одним словом—„хелявун". Рожон обычно делается плоским, чтобы рыба на нем не вертелась. Мелкую рыбу, например, „пельдядку" протыкают рожном через бок. На один рожон насдевывают по несколько штук рыб. Часто бывает, что на один рожон поддевают до десяти „пельдяток". Обычно, втыкая рыбу на рожон, ее укрепляют вниз головой.

Практикуется также жарение рыбы на сковороде—„кавардок" (Илимп. тунгусы). Жарить по-тунгусски—„иридем". Жареная рыба—„иривча". Чаще всего, жаря рыбу на сковородах, поливают их только водой, жир стараются не тратить. Мелких рыб чистят, распарывают им живот, вынимают внутренности и кости. Из крупных рыб костей не вынимают, рыба режется на части. Никаких приправ при жарении в рыбу не кладется.

Рыба употребляется зимой, главным образом, в сушеном виде. Сушить рыбу впрок—„пурчанде". На сушение идет всякая

рыба, кроме красной, налима и вообще крупной. Сушится: пельдятка, сиг, окунь, карась, хайрюз, форель. Сушение у Илимпийских тунгусов производится, по словам Суслова, следующим порядком: в свежую рыбу втыкают в хвост нож и идут ножом к голове. Потом снимают мясо рыбы с ребер. Голова отрезается. Хвост остается для того, чтобы можно было на него повесить рыбу. Дело в том, что обе половинки рыбы разрезаются не до конца, а только до хвоста, который их скрепляет. С внутренней стороны делают на рыбе надрезы, приблизительно в сантиметр глубиной и вешают рыбу в чум на особые шесты. Потом прокопченую в чумах на шестах рыбу вешают досушиваться на солнце. Развешивают также на шестах, над которыми никакого покрытия обычно не делается, и только от большого дождя ее убирают в чумы. Сушится рыба около двух недель.

Сушеная рыба употребляется в пищу, большею частью, в виде растертого порошка—„пурча“, но употребляется также и в не растертом виде.

Когда рыба достаточно просохнет, с нее сдираюу шкуру и начинают ее растирать между ладонями. Получается сухой рыбный порошок. Его ссыпают в „патакуи“, которые покрывают сверху корой и ставятся обычно на лабазы. Такая мелкая растертая рыба известна под именем „пурчи“.

Пурча употребляется в пищу с чаем; едят ее обычно без хлеба. Не только по словам тунгусов, но и некоторых русских, пурча приедается очень не скоро. Иногда пурчу мешают с рыбьим жиром, разогретым на сковороде. В таком случае ее едят обыкновенно ложками. Пурча с рыбьим жиром употребляется иногда как закуска перед чаем, но большею частью ее едят с чаем. Едят пурчу также, перемешивая ее с разогретым оленьим салом. Некоторые тунгусы приготовляют пурчу впрок, предварительно перемешав ее салом. Про большинство тунгусов нужно сказать, что они едят пурчу и без рыбьего жира и без оленьего сала. И жир и сало—роскошь, доступная для богачей. Едят пурчу, перемешивая ее с ягодой, обычно с голубицей (дикта). Когда сухой рыбный порошок ссыпается в патакуи,—в него вмешивают голубицу. Получается рыбный порошок, пропитанный соком ягод.

Употребляется рыба в пищу в сушеном виде и не растертая. Случается, что и такую рыбу едят с ягодами. Пока рыба окончательно не отвердеет, ее кладут на решетки для сушения мяса и обсыпают голубицей. Получается сушеная рыба, в которую влипала ягода. Сушеную рыбу всегда едят без соли.

Большею частью сушеная рыба употребляется в виде пурчи, т. е. мелко-растертого порошка. В этом отношении тунгусы являются полной противоположностью остякам. Остяки сберегают сушеную рыбу целиком вместе со шкурой. Продают остяки рыбу счетом. У тунгусов рыба хранится в патакуях в виде пурчи, продается всегда мерой—патакуями. Пара патакуев пурчи стоит дорого. Обычно за пару патакуев берут оленя. В каждый патакуй вмещается приблизительно 30 фунтов мелкого сухого рыбного порошка.

Едят рыбу тунгусы зимой в сыром виде, замороженой. Никогда рыбу в большую глыбу не смораживают. Каждая отдельная рыба лежит особо. Глыбой рыба в патакуи не вместилась бы. Мелкую рыбу—пельдядку замораживают на палочках, по десяти штук на каждую. Эту рыбу продают счетом, и продают иногда в огромном количестве—тысячами. Десятками считать удобнее.

Сказанное о сушении и замораживании рыбы относится к тунгусам Илимпийской тундры.

Струганина рассматривается как лакомство. Едят ее большей частью до чая. Обычно струганину едят без хлеба. Мороженых рыб стругают обычно вдоль хребта. Более или менее значительных рыб (красную рыбу) режут пластами поперек.

Квашенье рыбы тунгусам совершенно чуждо. Тунгусы не только не квасят сами, но и не едят квашеную рыбу, когда им предлагают русские. Сколько-нибудь пахнущую рыбу тунгусы принебрежительно отбрасывают в сторону, называя ее гнилой. Точно также тунгусы не едят и соленую рыбу, которую называют прокисшей.

Икра. Икра у тунгусов вообще не в чести. Икра—„тыḣа“—употребляется в пищу, тем не менее, и зимой и летом. Зимой ее едят только мерзлой. Слизь с мерзлой икры не снимают. Едят икру или, как струганину, длинными ломтиками, или отколупывают от общей массы ножиком небольшие кусочки неправильной формы. Иногда икру примешивают в хлеб. Мерзлую икру растирают, отчего она превращается в жидкость, похожую на молоко. В таком виде ее подмешивают в тесто, когда делают лепешки. По словам русских, выходит очень вкусно, словно в тесто добавлены яйца. Иногда превращенная в жидкость икра вмешивается в похлебку и разбалтывается там мутовкой, как кровь.

Летом икры едят сравнительно немного. Кладут ее в уху, как есть в „рубашке“, и так варят с остальной рыбой.

Растительная пища.

В районе обитания Илимпийских тунгусов из крупных растений распространена только лиственица; нет ни сосны, ни березы. Береза проникает в Илимпийскую тундру кой-куда по краям и зовется илимпийскими тунгусами „русским деревом". Ель встречается только по горам. По Нижней Тунгуске растительность более разнообразная. Там встречается и лиственица и береза. Кедр очень распространен в междуречье Нижней и Подкаменной Тунгусок. Все эти растения тунгусами для пищи совершенно не эксплоатируются, как почти не используется для питания и ягода. Тунгусы едят только голубицу—„дикта", морошку — „мороиго" и, отчасти,—бруснику—„химикта". Смородина (по-тунгусски—„ихарикта") в пищу не употребляется, и самое слово произведено от слова „ихаридем"—тошнить, рвать. Лук—„ишты"—тунгусы не едят и отворачиваются от русских, от которых пахнет луком.

В одном только пункте Туруханского края, там, где на тунгусах особенно чувствуется якутское влияние, около озера Якони, тунгусы употребляют в пищу лиственичную заболонь, которая в таких случаях называется „чара". Ее режут маленькими кусочками неправильной формы, потом варят с мясом, как капусту. Другим тунгусам употребление лиственичной заболони совершенно не известно.

Из растительной пищи главное место в системе питания занимает мука, покупаемая от русских. В некоторых местах тайги, как ни странно, население питается мукой и только мукой. Масная пища, которую так естественно было бы встретить у таежного населения, фигурирует как исключение, в праздничные дни. Создавшееся положение объясняется тем, что домашних оленей у большинства тунгусов теперь имеется очень немного. Тунгусы, обитающие по Нижней Тунгуске, почти безоленны. Среди них нет ни одного человека, который имел бы больше двух десятков. В среднем, тунгус Панкагирского, Чапагырского и Чумского рода—обладатель стада в 8, 10, 12 голов. Как видно из изложенного выше, оленьим мясом более или менее часто могут пользоваться только Илимпийские тунгусы да некоторые богачи из междуречья Нижней и Подкаменной Тунгусок. Дикого оленя и сохатого, как сказано было выше, теперь в лесах Туруханского края очень немного. Тунгусы промышляют почти исключительно белку, которую сдают русским, и потому без продуктов, доставляемых русскими, суще-

ствовать не могут. Наиболее важными продуктами, получаемыми от русских, являются масло и мука. Мука занимает первостепенное положение.

Мука по-тунгусски — „бурдука". Слово это настолько крепко вошло в оборот, что когда открылись русские торговые фактории и появилась временно в Туруханском крае лавка Хлебопродукта, тунгусы ее звали „Хлебобурдуком".

Тунгусы различают отдельные соруа муки, которые зовут испорченными русскими словами: пшеничная „шенишная", крупчатка—„прупчатка", сеянка—„хеянка", ржаная—„аржаная". Все эти сорта муки тунгусы употребляют в пищу, но очень неохотно едят ржаную. Муку обычно употребляют для лепешек не сеяной, так как сит не имеют.

Мука в похлебке. Мука используется для подмешивания похлебки и для приготовления лепешек.

Похлебка, к которой подмешивается мука, называется у Илимпийских тунгусов—„бурдумин", в протовоположность похлебке, заправленной кровью, которая называется „нимин". Бурдумин готовится из „хербы". В хербу, не снимая ее с крюка, на котором котел подвешан на огне, постепенно подсыпают муку, непрерывно размешивая ее мутовкой.

Приготовление и употребление в пищу лепешек. Хлеб, употребляемый главным образом в виде лепешек, называется у Панкагирских тунгусов „клеба", у Куркагирских—„колобо".

Процесс приготовления лепешки у Илимпейских тунгусов, со слов М. М. Суслова, протекает так. Муку насыпают на сковороду, по средине делают лунку. в которую наливают воду. Начинают муку перемешивать с водой и мешают до густоты, до тех пор, пока мука не станет приставать к полученной массе. Тесто расшлепывают руками в лепешку, толщиной в палец. Лепешку кладут на сковороду и помещают на угли. Несколько раз лепешку перевертывают с одного бока на другой, чтобы она не пригорела. Сковороду предварительно посыпают мукой. Когда лепешка на сковороде сделается довольно твердой, ее берут со сковороды и ставят перед огнем торцом, подпирая с одной стороны палочкой. В таком виде лепешка допекается окончательно.

Мне приходилось видеть приготовление лепешек и Панкагирских и Куркагирсих тунгусов. Муку ссыпали в таз. В сухую муку клали соль и растирали ложкой. Потом начали лить воду. Тесто до густоты наминали руками. Тем временем готовили ско-

вороду. Чтобы дать ей возможность сильнее нагреться, ее зарывали в костер под самые угли. Когда на сковороду помещали лепешку, ее снова зарывали под угли, большие головешки при этом отодвигали в сторону, чтобы не было сильного жара. Вытащенная через некоторое время из-под углей лепешка всегда бывала покрыта сверху слоем обуглившегося теста. Ножом соскребали обгоревшие части, а потом ставили лепешку перед огнем допекаться, подперев ее сзади палочкой.

Если имеется под руками масло, олений жир или оленье сало, то лепешка печется на одном из них. Когда лепешка печется на сале, то в середине ее протыкается пальцем дыра. Вообще же дыр на лепешке, так характерных для якутских лепешек, я не видал. Один раз только я видел, как одна молодая хозяйка проткнула лепешку пальцем по середине.

Пекут лепешки обыкновенно утром, после первого чая, перед отправлением в путь, в то время, когда мужчины уходят собирать оленей. Если зимой не кочуют, то пекут, конечно, и в другие часы дня. Печь лепешку можно в костре, разложенном где угодно, но хорошие лепешки получаются не всегда. Обычно тунгусы, выбрав подходящее место, стараются напечь лепешек про запас до другого удобного случая. Стараются подыскивать сухое место. Когда приходится располагаться чумом на низких сырых местах, костер горит плохо, сильно дымит, лепешки в таких случаях выходят не вкусными.

Как только тунгусы располагаются на ночевку, они вытаскивают из мешков лепешки и затыкают их за жерди, составляющие основу чума. Пока топится снег, пока кипятится чай, лепешки оттаивают. Пепед самым чаем их подтаскивают к костру и ставять торцом, подпирая сзади палочкой. Иногда лепешки рвут на части. В таком случае около костра кладут палочки и на них размещают лепешки.

Лепешки едят только с чаем; никогда тунгусы не пользуются хлебом, когда едят мясо или рыбу. Во время чая лепешки едят или в виде маленьких кусочков, сложенных кучкой на столе, или в виде тех же лепешек, напитанных маслом и сложенных на сковородку. Когда у тунгусов есть достаточно масла, они не только напитывают им лепешки перед началом чая, но постоянно мокают в него во время еды.

Оладьи. Оладьи тунгусы едят как большое лакомство. В чашку наливают воду, солят ее, потом сыпят муку—до такой густоты, чтобы тесто можно было зачерпнуть ложкой. На сковороде разогревают сало, масло или рыбий жир. Жиров льют много. Тунгусские оладьи буквально плавают в жиру. Подаются оладьи на сковороде в масле. Достают их концом ножа и едят держа в руках. Вилок не употребляется.

Русский хлеб. Русский хлеб тунгусам очень нравится. Выходя на фактории, они едят его с большим удовольствием у русских. Часто тунгусы заказывают русским женщинам на факториях испечь хлеб и платят за это припеком. Если на факториях открыть пекарни, они имели бы большой успех. Сами тунгусы приготовлять русский хлеб умеют далеко не все. Тунгусы Чумского рода берут дрожжи, но пекут хлеб в золе. Получается таким образом нечто среднее между русским хлебом и тунгусской лепешкой. Про Куркагирских тунгусов мне рассказывали, что из них многие умеют приготовлять кислый хлеб. Мне лично кислый хлеб у тунгусов Куркагирского рода приходилось видеть только один раз.

Напитки.

Напитки тунгусов состоят из воды, чая и его разных суррогатов и молока. Хмельных напитков собственного производства у тунгусов не имеется.

Сырая вода. В отношении воды тунгусы очень щепетильны. В противоположность якутам, пьющим часто мутную грязную воду, тунгусы стараются пользоваться чистой проточной водою. Тунгусы очень любят прозрачную холодную воду. Мне указывали на одну речку, настолько быструю, что в некоторых излучинах она не замерзает и зимой. Река эта славится своей холодной чистой водой. Летом, совершая перекочевки, тургусы стараются держать направленне таким образом, чтобы далеко от этой реки не отходить. Если окрестным тунгусам почему-либо не удается подойти к этой речке близко, они таскают воду из нее в котлах и чайниках, иногда через большое расстояние. Сырую воду, по словам М. М. Суслова, тунгусы вообще избегают пить. Тунгус крепится сколько может, с расчетом потом в чуме выпить несколько лишних чашек.

Снег. Зимой вся жизнь тунгусов связана со снегом. Насколько я замечал, тунгусы во время перекочевок, двигаясь на лыжах, снег не едят. Когда я, усталый, садился с ними отдыхать и начинал есть снег, чтобы заглушить мучившую меня жажду, тунгусы на это смотрели неодобрительно. Когда же им приходится далеко уходить за зверем, они начинают по многу есть снега. Есть специальный термин —„налямодем“—„есть снег“. Особенно много тунгусам прихо-

дится есть снега во время охоты за дикими оленями и сохатыми. Тунгусы до того наедаются снега, что, по словам одного из них, набивают им полное брюхо.

В обычной жизни снегом постоянно пользуются для получения воды для нужд в хозяйстве. Обычно первым делом, после того, как только будет разбит чум, бывает собирание снега в котел. Котел этот подвешивается потом над костром и не однократно пополняется снегом в дальнейшем. В бедных тунгусских хозяйствах снег набирают прямо в котел. У состоятельных тунгусов я видел особые сумы для снега.

Сумы, наполненные снегом, ставятся обыкновенно в чуме у входа. Так как края чума внутри всегда состоят из снежного кольца, то снег, набитый в сумы, не тает. В котел снег подкладывают из сум, по мере надобности, особой лопаточкой или просто ковшиком.

Питьевая вода в чуме всегда пахнет салом. Особого котла для перетапливания снега у тунгусов не имеется, и они пользуются для этой цели тем же котлом, в котором варят мясо.

Для утопления жажды в чуме тунгусы прибегают к снегу. Зачерпнув из котла стаканом воду, кладут в нее снег, взятый или из сум, или из снежной кромы, всегда находящейся в чуме. Получается умеренно холодная вода, но пьют иногда и очень холодную. Пьют холодную полуснеговую воду иногда сразу же после жирной пищи. Детей поят обычно водой, в которую примешан снег. Мне приходилось видеть, как маленьким детям давали пить воду из ковшика, по которому перекатывались шарики нерастаявшего и сбившегося в комки снега. Часто бывает, что делают и наоборот, зачерпывают почти полную чашку снега, а потом подливают в нее немного воды и пьют ледяную холодную воду.

Если представляется зимой малейшая возможность напиться воды из реки или из ручья, ее всегда стараются использовать. Несколько раз мы, во время наших переходов, останавливались, и тунгусы начинали соскребать со льда снег, а потом долбить его своими копьями. Однажды долбили лед минут 15 и, будучи не в состоянии пробить ледяной покров, со смехом и с досадой ушли, сожалея, что не могли добраться до воды, которую сильно хотелось пить. Когда располагаются чумом около реки, то всегда, конечно, берут из нее воду.

Тунгусы знают действие вод некоторых рек на человеческий организм. Несколько раз мне не советовали пить воду из переходимых нами рек, говоря, что от этой воды могут заболеть ноги.

Чай. Чай тунгусы пьют в огромном количестве. После длинного перехода в течение дня, тунгусы выпивают по десятку и больше чашек. Тунгусы различают байховый чай от кирпичного. Байховый они, вслед за русскими Туруханского края, зовут „фамильным" чаем. Илимпийские тунгусы любят больше кирпичный чай, Куркагирские, а в особенности Приангарские—байховый.

Тунгусы любят пить крепкий чай. Илимпийские тунгусы пьют чай несоленый, Панкагирские и большинство Куркагирских пьют чай с солью. Я видел, как Куркагирские тунгусы приготовляют чай. Первоначально кладут щепоточку соли в стакан, потом наливают чаю; так как чай не мешают, то на дне стакана получается очень крепкий соленый настой. Несмотря на то, что всегда кладут в стакан соль, чай обычно пьют с сахаром. Сахар всегда едят в прикуску. Мне рассказывали, что за последнее время тунгусы стали покупать на факториях лавровый лист для употребления его с чаем.

Илимпийские тунгусы воду для чая кипятят в железных чайниках, а чай заваривают в отдельных маленьких чайничках, которые зовутся—„хуевук". Только наиболее бедные Илимпийские тунгусы обходятся одним большим чайником. У Ангарских тунгусов, у всех тунгусов междуречья Нижней и Подкаменной Тунгусок заваривать чай в маленьком чайнике нет обыкновения.

Чай обязательно предшествует всякому угощению. Пришедшему гостю всегда предлагают чай прежде чем подать оленье мясо или рыбу. По словам М. М. Суслова, Илимпийские тунгусы всегда перед сном пьют „пустой" чай. У Панкагирских тунгусов мне этот обычай замечать не приходилось. Вообще я ни разу не видал, чтобы тунгусы пили пустой чай. Панкагирцы и Куркагирцы всегда при мне пили чай с лепешками.

У тунгусов существует несколько суррогатов чая. Заваривают вместо чая растение, известное у русских крестьян под именем кровохарковницы. Тунгусы зовут это растение—„чука чай", „трава чай". Предварительной обработке чука чай не подвергается. Сорванные со стебельков головки кладутся в чайник. Иногда их собирают про запас, складывая в турсуки.

Употребляют вместо чая также наросты на бересте, известные у русских под именем—„чага", у тунгусов—„чалбан чай". Кусочки „чаги" кладут в чайник, в котором она разваривается.

Молоко. Молоко по тунгусски—„укунми". Быть может, это слово происходит от слова „сосок"—„укун".

Обычно начинают доить важенок с мая и доят приблизительно до 1 октября, до начала „беганья“, по-тунгусски „хоканд“, Доят важенок два раза в день—утром и вечером. При плохом корме доят только раз. Каждый удой дает приблизительно ковшик. Перед доением ударяют несколько раз сильно по вымени ладонью. Делается это, быть может, для того, чтобы размягчить вымя или побудить корову охотнее давать молоко. Удар по вымени может ввести корову в заблуждение, так как теленок-олень, подходя к матери, прежде чем начать сосать, тычет несколько раз мордой по вымени. Доят важенок, первоначально выдаивая до конца молоко из первого соска, и уже потом переходят к другому. Надаивают молоко обычно в железный ковшик, покупаемый у русских.

В сыром виде молоко употребляется редко, так как представляет большую ценность. Обычно пьют его с чаем. Когда варят чай в больших чайниках, то в них же вливают сразу и молоко. На большой чайник, из которого напивается семья в 4—5 человек, достаточно одной чашки молока.

С начала заморозков начинают запасать молоко впрок. Надоив молоко в ковшик его замораживают на морозе. Перед новым доением ковшик подогревают на огне, вываливают из него кружок молока и в освободившуюся посуду надаивают новое молоко. Принеся в чум кружок, тунгуска колет его на кусочки. Расколотые кусочке кладет в ковшик и добавляет в него кипяток из чайника. Не дожидаясь, пока куски растают, она разливает забелевшуюся воду по чашкам, потом на куски молока снова льет воду из чайника.

Иногда в замороженное молоко втыкают палочку. Делается это в том случае, если молоко замораживают в посуде больших размеров, чтобы легче было вытаскивать.

Кипятят молоко редко, обычно только для детей. Кипятят слабо—дают молоку немного подогреться, чтобы ребенок не пил холодного.

Масло. Масло тунгусы из молока приготовлять не умеют. За последние годы этому искусству научились немногочисленные семьи, живущие поблизости русских.

Молоко наливают в бутылку и болтают до тех пор, пока оно не свернется. Чтобы получилось масло, приходится болтать около часу. Суслов знает из Илимпийских тунгусов только три семьи, умеющих приготовлять масло. Своего слова для названия этого молочного продукта у тунгусов не имеется. Масло так и называется „маслом“—по-русски.

Е. Н. Орлова.

Юрацкие игрушки.

(Краткое описание).

Игрушечный олень (из щепки).

Юраки, живущие по побережью Тазовской губы, нижнему течению Таза и в тундрах между Тазом и Енисеем, очень мало до сих пор обследованы и изучены, хотя эта группа туземцев представляет большой этнографический интерес.[1]

В 1920—21 году мною была совершена поездка в устье р. Таза, откуда был вывезен значительный материал по быту юраков. Эти материалы ныне хранятся в этнографическом отделе Новосибирского музея. Среди собранного материала была коллекция юрацких детских игрушек. К сожалению, эта важная часть моих сборов сохранилась только частично: бо́льшая и ценная часть погибла во время экспедиции; в частности, утрачены все деревянные игрушки мальчиков.

В виду крайней скудости сведений о детском быте сибирских туземных племен, в частности—юраков, мне думается, явится не бесполезным хотя бы внешнее описание моей коллекции игрушек, тем более, что, как только что отмечено, часть интересной коллекции утрачена.

Кукла („уку“)—наиболее распространенная игрушка юрацких девочек. Делаются они самими девочками. Размер одетых кукол –от 17 до 12 сант. длины и от 7 до 4 сант. в плечах. У юрацкой куклы различаются три составные части: голова, туловище и одежда.

Голова—делается из клюва дикого гуся, для чего с гуся до его ощипывания очень ловко срезается надклювье (верх-

---

[1] В последнее время появились работы А. Н. Соболева: „Юраки. Этнографический очерк“ в Записках по Гидрографии за 1925, т. 49; и в ж. „Землеведение“ 1924, кн. XXVII, в. 1—2. *Ред.*

няя половина клюва) со шкуркой и без головы. Чаще всего для этого употребляется порода белолобой казырки, у которой как раз возле клюва белое пятно, обрамленное дальше серым.

Неодетая кукла

1. Спереди. 2. Сзади.

а) надклювье, б) красный шерстяной лоскут, в) зеленые суконные полосы.

Самой головой служит надклювье, при чем его ноготок является верхней частью головы куклы. Самое надклювье служит лицом, а лобик (шкурка) туловищем. К отверстию ноздрей у женщины-куклы прикрепляются сережки (ниточки с нанизанным бисером и бусами).

Туловище. Туловищем может служить, как указано, и самый лобик, но чаще всего на него сверху нашивается прямоугольный кусочек сукна. Сукно бывает одноцветное, или с нашитыми продольными цветными (желтыми, красными, синими, зелеными) суконными-же полосками. Длина суконного туловища 7 сант., ширина 6 сантиметров.

Одежда куклы. Различаются кукла-мужчина (хазово-уку) и кукла-женщина (нэ-ку). Отличие этих кукол в их одежде. Шубка женщины (панй) делается с рукавами, мужская без рукавов.

Женская шубка—панй—делается обыкновенно не более 14 сантим. длины и представляет собою копию шубы юрачки. Она состоит из белых и черных кусочков оленьего меха, отделанных узкими меховыми же полосками. Характерным является то, что из всего множества виденных мною кукол у юраков, ни на одной не было шубы старого фасона, что объясняется отчасти и тем. что она в жизни теперь редко встречается и, во-вторых, тем, что она сложнее современной.

Мужская шуба—отличается от женской только отсутствием рукавов, напоминая своим покроем дамскую старинную ротонду. Здесь необходимо отметить свойственную всем детям острую наблюдательность: мужская юрацкая одежда состоит

Кукла—женщина (спереди)

а) надклювье—лицо, б) бисерные серьги, в) туловище, г) оленья шуба, д) цветные полоски сукна, е) белая оленья богушка, ж) рукавица.

обыкновенно из малицы, общеизвестной северной шубы с пришитыми шапкой и рукавами и не имеющей застежки; но вечером у себя дома в чуму юрак сбрасывает с себя малицы и одевает „паны", женскую шубу, в которой обыкновенно сидит вечером и, в нее же закутавшись, спит. Характерно, что мужчина носит эту паны „в накидку", никогда не всовывая руки в

рукава. Дети, учитывая эту бесполезность рукавов, совершенно их упразднили у своей мужской куклы. В отличие от женской куклы у мужской не вставляются в ноздревые отверстия клюва „сережки“.

Играют в куклы у юраков только девочки, при чем многие играют до полной взрослости. В виду того, что замужество у юраков наступает очень рано (юридическое с 5—6 лет и раньше, фактическое с 12—13 лет, у замужней женщины куклы занимают не малое место в жизни. Основным интересом игры является шитье. Обыкновенно у каждой куклы имеется целое приданое шуб, иногда до 20 штук, разнообразно расшитых цветным сукном и узкими полосками меха. Шитье этих шуб (очень кропотливое), перекладывание их, переодевание,—в этом заключается вся игра в куклы, так ярко копирующая характерный момент юрацкой жизни. Юрацкая девушка выдается замуж за калым (условленное некоторое количество оленей, звериных шкур) и сама приносит приданое в виде большого количества шуб и части чума. Основное занятие юрацкой женщины—шитье из меха одежды, т. к. на ее обязанности лежит шитье мужской и женской шубы, обуви, шапки. В виду того, что меховая одежда очень портится при носке в тепле, юраки обыкновенно имеют несколько смен и шуб и пимов: одни, более новые, для зимних разъездов на оленях, другие, похуже, для чума и третьи, совсем плохие, для лета, с его рыбным промыслом. Конечно, эта необходимость нескольких смен одежд преумножается женщинами из чувства кокетства и тщеславия, и у богатой юрачки количество шуб во много раз превосходит необходимость. Большое количество шуб—мечта каждой юрачки, и дети ее воплощают в игре.

Иногда несколько неодетых кукол с туловищем или из лобика или из сукна сшиваются вместе (до 12-ти и более); это игрушка для маленьких детей, безразлично мальчиков или девочек называется она саняка-уку, т. е. „много кукол“.

Колыбелька. Это очень распространенная игрушка у юрацких девочек. Самая колыбелька представляет собою плотно обшитый тряпочкой треугольный комочек длиной от 5 до 7 сант. и шириной в более широкой части 3—4 сант. К этой расширенной части прикрепляется вертикально с небольшим наклоном назад птичья, утиная или гусиная дужка, на которую сверху нацепляется нитка разноцветного бисера, заканчивающаяся у основания задней расширенной части колыбельки одним концом, другим идущая к передней. Кроме того, колыбелька пересекается тремя поперечными ниточками бисера, прикре-

Та же кукла (сзади).

а) надклювье, б) бисерная пряжка, в) полоски цветного сукна—косы.

пляющимися у ее концов. В расширенной части колыбельки под тряпочку вкладывается гусиное надклювье таким образом, чтобы конец клюва высовывался из тряпочки, это—„ребеночек".

Игрушечная люлька.

а) надклювье ребенка, б дужка гусиная—обод люльки.

Здесь мы опять видим хорошо подмеченный бытовой момент. От рождения и до ходьбы юрацкий ребенок проводит в люльке. Мать никогда не носит его на руках. Во-первых, не позволяют климатические условия, во-вторых ей некогда. Даже для кормления юратка не вынимает ребенка из люльки, а берет ребенка с люлькой на колени. Вынимается ребенок только для вытирания его мокрым мохом или древесными стружками и для смены у него подстилки в люльке из сухого торфяного мха и древесных опилок.

Самая колыбелька делается деревянная и состоит из досчато-овальной формы дна, длиной 60 сант., шириною в широком месте 40 сант. Это дно ограничено деревянными округло-выгнутыми краями, дающими глубины в колыбели 10 сант. Ближе к широкому концу делается вертикально-наклонный обод. Дно колыбельки устилается мхом и гнилушками, на которые и кладется ребенок. Сверху он покрывается оленьей шкуркой мехом вверх и затягивается ремнями, укрепляющимися в отверстиях с боков люльки. Посредине по длине люльки проходит еще ремень, который перекидывается через обод. Обод и перекидывающийся через него ремень является очень важным приспособлением к люльке в юрацких условиях жизни. Когда холодно в чуме, или когда везут ребенка зимой в открытой юрте, вся люлька заворачивается в оленьи шкуры, и обод с ремнями, на которых сверху держится тяжелая шкура, не дает ребенку задохнуться. Летом это же приспособление помогает защитить ребенка от многочисленных в тундре комаров. На обод набрасывается тонкая оленья кожа или ровдуга (замша).

В игрушечной люльке этот условный момент подчеркнут: птичья дужка—обод, бисерные нити—ремни.

Детская рукодельная сумочка пат-кочи. Размер: длина 8 сант., ширина 5 сант.

Сумочка сделана из оленьего меха с вышивкой из меха и цветного сукна. В сумочке лежат комочки лиственичной серы. Часто в таких сумочках у девочек лежат все их сокровища. Тут и ниточки бисера и отдельные бусики, утиные пушинки на ниточках, заменяющие серьги, кусочки цветного сукна тряпочки, кусочки меха и т. д.

Рукодельные сумочки—пат-кочи—необходимая принадлежность каждой взрослой юратки. Размер средней сумочки: длина 40 сант., ширина—40-50. Сумки служат для складывания в них обрезков меха, недошитых узоров, оленьей жилы и других принадлежностей шитья. Для наперстка и иголки или делается небольшое отделение в сумке, или особая маленькая сумочка. Задняя сторона сумки делается обыкновенно из цельного куска меха. или ровдуги (замши). а передняя богато расшивается „мадеву“ (меховым орнаментом).

Игрушки юрацких мальчиков.

Игрушки юрацких мальчиков также характеризуют быт и промысел взрослых юраков, как игрушки девочек—занятия взрослых юраток... Летом юраки занимаются рыбной ловлей, и лодка играет большую роль в это время.

Любимой игрой юратских мальчиков, как и следует ожидать, является игра в олени, обладание большим стадом оленей мечта каждого юрака. Вся зимняя жизнь юрака состоит в пастьбе оленьего стада. Частые переходы (анасы) со стадом на новые кормовые места со всем стадом оленей и всем скарбом, любимое детьми время: вольная гоньба на оленях, новые места, разбивка чумов, ловля оленей, все это безконечно привлекает ребенка.

Олень делается из щепки. Берется щепка длиной до 30—34 сант. и шириной 3-4 сантиметра. Надламывается в 3-х местах. Первый надлом рассекается ножем вдоль и одна часть отгибается вверх, вторая вниз. Верхняя щепочка рассекается на очень тонкие веточки, загибающиеся дугой в разные стороны; это голова и ветвистые рога; нижняя расщепляется на две, получаются передние ноги. Другой надломленный конец щепки загибается вниз, расщепляется на двое—получаются задние ноги. Средина между надломами—туловище. Таких оленей делается очень много. Дети расставляют их на шкуре в чуме. У каждого свое стадо оленей.

Юрацкие мальчики делают небольшие луки со стрелами, при помощи которых летом прекрасно бьют пичужек в кустах. Делают силушки на куропаток и снежных подорожников.

Кроме того, среди юрацких игрушек видное место занимают деревянные игрушки принципа волчка и вертушки. Одни такие волчки издают звук (для этого сверху к ним прикрепляется болтающаяся дощечка), другие светятся во время верчения: острие волчка вверху переходит в деревяную рюмочку, в котором сбоку просверлено круглое отверстие в $^1/_2$ сант. диаметром. В рюмочку бросается из чумового костра тлеющий уголёк и волчек закручивается; при движении воздух поддувает в круглое отверстие, и уголёк ярко разгорается. Вертящийся огонек в полутемном чуму привлекает внимание не только детей, но и взрослых. Эту игрушку можно считать построенной всецело на условиях быта, т. к. в нашей светлой комнате она не была-бы так контрастно-художественна.

Лино-клише раб. П. Ф. Требуховского.
По рисункам Н. Н. Нагорской.

А. Я. Тугаринов.

Андроновские могилы.

В августе 1914 года я сделал небольшую экскурсию в Ачинский уезд Енисейской губернии. Поездка была вызвана сообщением, что около Ачинска, при проведении железной дороги, были найдены кости ископаемых животных. Как оказалось впоследствии, окрестности Ачинска чрезвычайно богаты находками потретичных млекопитающих, залегающих в лессовидных суглинках. Между прочим ознакомление с местом находок костей мамонта на месте выемки в окрестностях города у кирпичных сараев, по некоторым деталям (уголь, камни, сколы) позволяло допустить, что здесь находилась палеолитическая стоянка, однако содержащие находки слои породы были уже снесены земляными работами. Когда я собирался уже возвращаться в Красноярск, в конторе постройки дороги было получено сообщение, что на втором участке, у д. Андроновой при устройстве выемки, были вырыты сосуды, остатки материи и др. предметы из вскрытого погребения. Чтобы получить эти предметы и ознакомиться на месте с условиями их нахождения, я отправился в Андронову. Здесь мне неожиданно удалось напасть на несколько погребений, вскрытых выемкой полотна. Предвидя их неизбежную гибель, я произвел раскопки, давшие интересные результаты и обогатившие Красноярский Музей новыми материалами. Тогда же я представил Красноярскому Отделу Географического Общества отчет о своей поездке, где нашло себе место описание раскопок названных погребений. В 1920 и следующих годах, когда в Приенисейском крае оживилась исследовательская работа, а археологи, в частности, развили большую энергию в изучении местной доистории, их внимание привлекли Андроновские находки. Впервые на них остановился д-р Мергарт—ныне проф. в Инсбруке,— а С. А. Теплоухов, признавая их культурную самостоятельность, на основании моих находок, установил особую Андроновскую культуру, [1] обнаружив ее распространение, как в Минусинском

[1] Отчетная выставка Этнографического Отдела Русского Музея за 1923 год, стр. 10.

уезде, так и других местах Сибири. Минувшим летом ее изучением занимался в Ачинском уезде Г. П. Сосновский. Признанная русскими исследователями Андроновская культура заняла ныне свое место в схеме сибирской доистории. Таким образом мне, совсем не археологу, пришлось быть виновником первого обнаружения этой культуры. Не чувствуя себя компетентным, я ограничился в свое время лишь возможно точным описанием вскрытых мною погребений, не предполагая его опубликовывать. Теперь, имея в виду то значение, которое получили Андроновские находки и считаясь с пожеланиями местных исследователей, я, пользуясь любезностью редакции „Сибирской Живой Старины", привожу ниже извлечения из своего отчета, касающиеся Андроновских погребений.

Местность около деревни Андроновой можно назвать вполне степной. Ни около деревни ни на несколько верст кругом глаз не останавливается на каких-либо древесных насаждениях. и только проходящая верстах в 20 на юг возвышенность (Солгонский кряж) покрыта на северных склонах редкими лиственягами. По своему рельефу окружающую местность можно назвать слабо волнистой, пересекаемой лишь неглубокими долинами пересыхающих на лето ключей и имеющих сток в протекающую здесь р. Сереж. Последняя представляется в виде небольшой, медленно текущей степной речки, с довольно извилистым течением, с болотами, с болотистыми низинами, старицами и озерами, сопровождающими ее берега. Долина р. Сережа довольно широкая, до версты и более. Вторые берега ее представляются в виде пологих задернованных склонов, покрытых степной растительностью. Насколько можно было судить по искусственным разрезам, вся поверхность сложена лессовыми отложениями, выходов твердых пород нигде по близости не наблюдается.

Линия железной дороги, проходя по левой стороне долины Сережа по склонам верхней террасы, не доходя версты 4 до дер. Андроновой, переходит через р. Сереж на правую ее сторону. Чтобы спустить полотно до высоты моста через р. Сереж, пришлось сделать на незначительном протяжении более или менее глубокие выемки. При производстве этих-то работ и были найдены погребения. Уже при первом беглом обзоре бросались в глаза значительные кучки камней (плитняка), извлеченных при разработке выемки, кое-где эти плиты торчали из откосов, а изредка были видны кучки перегнившей древесины, рассыпанной по откосам и выемке. Не оставалось сомнения, что был разрушен целый ряд погребений. Рабочие говорили, что

здесь также в большом количестве попадались кости человека и черепки сосудов.

Осмотр поверхности, прилежащей к выемке, обнаружил, что здесь имеется ряд искусственно расположенных небольших камней. Последние едва выдавались над землей, иногда их присутствие обнаруживалось только по снятии дернового слоя. Часть их была кем-то выворочена, но, реставрируя первоначальное положение, пришлось убедиться, что они лежали в виде двух концентрических кругов. Так как часть склона, более половины, была снесена, то установить диаметр каменной ограды было затруднительно, но, повидимому, он по внешнему кольцу камней не превышал 10—12 метров. Внутренний круг от внешнего лежал приблизительно на расстоянии 2 метров. Внутри ограды также попадались камни и небольшие плиты. В сторону от описываемого пункта, внутрь степи, как и на поверхности выступа соседнего склона—также находилось не мало камней и небольших плиток, но подметить какой-либо правильности в их расположении я не мог.

Осмотрев внимательно откосы выемки, я должен был убедиться, что, к счастию, в некоторых случаях работами был разрушен лишь край могилы. Таких я насчитал три погребения. Кроме того, в одном случае наружу выдавались берцовые кости человека, а пробная раскопка обнаружила ненарушенный костяк. Желая спасти от окончательного разрушения эти погребения, я решил их раскопать.

Погребение 1-е. Расположено в откосе выемки на 105 версте (63 пикет) на глубине около $2^1/_2$ метров. Присутствие погребения обнаруживали два торчавших на некотором расстоянии один от другого куски дерева, сильно истлевшего. После удаления земли показался настил из 5 толстых полубревен, лежавших на длинных продольных круглых бревнах. Настил имел форму прямоугольника, вытянутого с востока на запад. Непосредственно на землю были положены два бревна, длиною до 200 см. и толщиною 35 см. С узких сторон были вложены соответствующей толщины короткие бревна, длиною 60—70 см. Сверху эта яма была накрыта, как сказано, 5 полубревнами, горбылями наружу, каждое диаметром до 40 см. Насколько позволяла судить сильная разрушенность дерева, никаких скреплений рамы, а также и настила—не было. Можно было лишь заметить, что настилающие полубревна были на концах стесаны и своей плоской нижней стороной несколько заходили в глубь рамы. Кроме одного, все покрывающие полубревна разломились поперек и провисли внутрь могилы.

После очистки земли настил был снят, и обнаружилась следующая картина погребения. Костяк лежал несколько ближе к южной стороне могилы на левом боку. Правый висок проломлен упавшим настилом, кости лица сильно разрушены. Руки согнуты в локте и кистях и как бы сомкнуты налево от туловища—так, что левая лежит под костяком, правая на нем. Пальцы на высоте подбородка, на расстоянии 15 см. от лица. Позвоночник и шея согнуты. Ноги согнуты в бедре и колене, обе на левой стороне. Часть костей—ребра, правая локтевая и лучевая поломаны провалившимся настилом. В левом верхнем углу могилы, позади головы, почти касаясь стенок угла, стоял глиняный сосуд, высотою 27 1/2 см. и диаметром отверстия 26 см., по верхнему краю украшенный двумя вдавленными бороздками и своеобразным геометрическим орнаментом. Изредка в земле вокруг костяка попадались кусочки угля, на дне могилы —небольшой слой пепла. Никаких предметов не обнаружено.

Погребение 2-е. Аналогичное описанному. Находилось к юго-юго-западу от него, на расстоянии 60—80 метров, также в откосе выемки, в группе еще трех, видимо таких же, но от последних уцелели лишь обломки поперечных бревен. Вскрытое находилось на глубине 300 см., окружающие лежали несколько выше, каждое на различной глубине, но не выше 2 1/2 метров от поверхности. Самое дальнее—на расстоянии от вскрытого на 6 метров, ближайшее—на 2 1/2 метра. Положение могилы, костяка—совершенно сходно с погребением № 1; глиняный сосуд, помещавшийся на том же месте,—несколько меньше, высотою 23 см., отверстие диаметра 23 1/2 см., но элементы орнамента те же, хотя рисунок иной. Предметов также никаких нет.

Погребение 3-е. Находилось по близости первого на северо-северо-восток, на расстоянии около 6 метров и на глубине 2 метров. Было обнаружено, благодаря торчавшим на склоне откоса вертикально поставленным плитам. Как показала раскопка, несколько менее половины могилы было снесено работами. Картина погребения такова: стенки могилы образовывали поставленные вертикально на ребро целые плиты красноватого песчаника, высотою около 60 см. Могила имела форму прямоугольника, длинные стороны соответствовали югу и северу, короткие—востоку и западу. Ширина короткой стороны—80 см., длину большой стороны установить не представилось возможности, ибо, как уже помянуто, восточная сторона могилы срыта. Сверху этот каменный ящик был закрыт двумя рядами каменных плит. Положение костяка подобно положению в могилах с деревянной кладкой: на левом боку, ближе к южной

стороне могилы, головой на запад (следовательно, лицом на север), руки согнуты так, что локтевые и лучевые кости лежат параллельно и обе руки параллельны туловищу, пальцы на уровне глаз. Каково было положение ног—неизвестно, так как нижняя часть тела, начиная от таза, была снесена. Как и в предшествующих случаях, в головах, в юго-западном углу, стоял глиняный сосуд. Его форма и орнамент вполне сходны с предыдущими. Но вместе с тем оказалась и новая деталь. В одну линию с сосудом, вдоль узкого края могилы, лежала тонкая каменная плитка, а под нею несколько ребер животного, видимо барана. Такие же плитки лежали и в 6 других местах недалеко от пальцев, на высоте груди у северной стороны могилы, в северо-западном углу. Во всех случаях под плитками обнаруживался на грунте черный отпечаток—остаток перегноя каких-то органических веществ. Ни пепла ни угля не замечено. Осмотр костей обнаружил сильную окраску поясничных позвонков солями меди, а под ними в этом месте были найдены обломки тонких медных пластинок. Одна из них, более сохранившаяся, имеет овальную форму, один конец заострен, другой тупой и в нем ушко для нанизывания пластинки на нитку; вдоль краев пластинки ряд мелких вдавлений. Размер ее: длина 32 мм., наибольшая ширина (посредине)—13 мм. На других частях скелета следов близости меди не констатировано.

Перечисленными раскопками я ограничил свои работы, так как был стеснен и временем и средствами—работать пришлось одному. Должен еще упомянуть, что здесь же, недалеко от погребения № 1, на расстоянии метра к югу и несколько выше в откосе выступала сплошная кладка камней, в виде положенных друг на друга плит. Сечение ее измерялось около 45 см. в ширину и 1 метра высотою. Предполагая вначале, что это поверхностный настил над погребением, я произвел ее разборку, удаляя послойно, но, разобрав ее по длине более чем на 1^1_2 метра, конца ее не обнаружил. Я забыл упомянуть, что кладка эта лежит на глубине 2^1_2 м. от поверхности, так что дальнейшая разборка ее потребовала бы удаления значительного количества земли. Напрашивается предположение, что это была как-будто подземная стенка, ограничивавшая с одной, а быть может и со всех сторон, группу описанных трех погребений Но назвать приведенное объяснение больше чем догадкой я не могу. Интересно также отметить, что могилы, выложенные деревом, всегда глубже, чем каменные ящики.

Мне остается упомянуть о тех находках, которые были сделаны рабочими и которые по счастливой случайности оста-

лись сохраненными. Из них мы имеем: 2 сосуда, остатки материи и обломок деревянной ложки.

Что касается первого из сосудов, то он весьма походит на найденные мною, но где и при каких условиях он вырыт мне осталось неизвестным. Другой сосуд, как и все прочие нижеописанные предметы, по указанию одного из рабочих, были вынуты из погребения с деревянной обкладкой, сейчас разрушенного. Вместе с ним были найдены остатки сильно разрушенной шерстяной ткани; на одной стороне материя как будто смазана клейким составом, почему местами она отвердела и ломается. Другими остатками одежды является интересное плетение, несколько напоминающее по внешнему виду крестьянские „браные“ пояса. Один такой кусок представляется в виде полного кольца, шириною около 4 см., сплетенного на „конус“, т. е. диаметр одного края уже, другой шире. К этому кольцу с одной и другой стороны были прикреплены концентрически другие такие же, о чем можно судить по сохранившимся обрывкам. Остаток одного из нижележащих рядов также сохранился. В одном месте, с нижнего края, к нему приплетен, в форме языка, небольшой конец, заканчивающийся связанными узлами нитками. Будучи расправлены на соответствующую форму, остатки эти почти не оставляют сомнения, что мы имеем дело с головным убором, а спускающийся вниз конец соответствует наушнику. Наконец, имеется еще остаток подобного же плетения, в виде целого кольца шириною в 2 см., напоминающего оторочку рукава. Материалом плетения во всех случаях служила толстая шерстяная нитка. Помимо кусочков сильно истлевшей бересты, сохранившей следы соседства огня и несколько закоптелой, следует еще упомянуть сильно разрушенную ложку-черпак. Сделана она из комлевой части дерева, рукоять находится под прямым углом к черпаку. На внутренней и внешней поверхности черпака видна какая-то клейкая обмазка, а на внутренней стороне, кроме того, беловатый налет и группы каких-то мелких кристаллов. Рукоять чистая, сверху обломана, вообще дерево разрушено мало.

В той же выемке, где вскрыты описываемые погребения, я раскопал еще одну могилу, несомненно, более позднюю, совершенно другого характера, почему на ее описании я не останавливаюсь и изложенным кончаю свою заметку.

Красноярск.
X—25.

А. Соколова.

Материалы для изучения партизанской поэзии.

(Песни и причитания).[1]

Эпоха гражданской войны в Сибири создала новый вид творчества—партизанскую песню. Создавалась партизанская песня ушедшими из сел и деревень крестьянами, в большинстве случаев, молодежью. Большею частью эти песни являются переделками старых песен, особенно песен казацких. [2]

В партизанских песнях сплетаются два основных мотива. Вынужденные скрываться в тайге, вырванные из своей привычной обстановки, молодые партизаны естественно были мыслями в родной деревне, где оставались их родные, жены, невесты... Это томление по дому и нашло отзвук в лирических мотивах казацких песен, почему, вероятно, и сделало их особенно популярными и любимыми в партизанской среде. Но вместе с тем в структуру старой песни вошел и новый мотив—отзвук пережитого за эти годы и слышанного из уст пропагандистов и агитаторов—мотив свободы. Этот новый мотив пронизывает почти все партизанские песни и выделяет их из ряда других.

Уехал он в края далеки,
Штоп за свободу жисть отдать...

Ты скажи им, жонушка,
Он свободы добиваитца...

Заметно также иногда в партизанской песне стремление приблизиться к книжной речи. Иногда в них определенно чувствуется знакомство с печатными литературными произведениями. Привожу несколько примеров из записанных мной песен летом текущего года в Приморье.

---

[1] Настоящая статья не смогла быть доставлена к указанному сроку в редакцию и потому помещается не среди соответственных материалов первого отдела, а во втором. Р е д.

[2] Нужно иметь в виду, что старожилое население Приморья в значительной степени составляют уссурийские казаки.

Скакал hорняк через долину,
Через кресьянские поля,
Скакал он hорною тропиной.
Кольцо блистало на руке.
Кольцо дивчинка подарила,
Kohда он оставил дом родной,
Она дарила, hоворила,
Што чириз hод буду твоӥй.
hорняк hода не дождался,
В село родное прискакал.
На встречу йдет иму товарищ
И за поводья коня взял.
—Напрасно ты сюда приехал,
Напрасно мучил ты коня,
Тибе дивчонка изминила,
Судьбу другому отдала —
И партизан ему ни слова,
Заворотил коня назать,
Уехал он в края далӥки,
Штоп за свободу жисть отдать.

Близь Висли на западном фронте'
В пищаных, сыпучих степях,
Там бьютца hерои за свободу
И смерть ни страшна храбрецам.
И в бой идут они смело,
И ими забыта семья.
А дома отец во крючине
И с ним приhорюнилась мать.
Читает про воинов hазеты,
Жилают про сына узнать,
А сын их убитой в разведке,
На это такой был приказ.
Убит он японской гранатой.
Вдруг брызнули слезы из глаз.
И дома жена молодая
Осталася с малым дитӥм
И hорьки слезы проливаит,
hорюит по мужи своӥм.
Kohдата был бодр и веселой,
Простился с сердечной женой.
Теперь лежит камень тяжелый
На веки по муже своӥм.

В последней песне причудливо соединен в одно целое ряд различных и разновременных событий: с одной стороны, германская война на западном фронте и столкновения с японцами в период интервенции—с другой. Таким образом, мы наблюдаем, как к солдатской песне периода германской войны присоединились эпизоды из эпохи партизанской борьбы в Приморье.

Особое место в творчестве, отражающем отдельные революционные моменты, занимают причитания по уходящим в партизаны крестьянам и по убитым партизанам. Исследователями уже отмечалось, что причитания более всяких других видов устного творчества способны впитывать в себя элементы современности. [1] Современность дает толчок к созданию новых художественных ценностей в поэзии деревни. Конечно, не мог пройти бесследно для деревенской женщины и момент ухода в партизаны; этот момент нашел яркое отражение в причети.

Причитание жены по мужу.

(Провожает в партизаны).

На koho оставил жонушку свою любимаю,
Да на koho же ты оставил малых своих дитушик?

[1] Марк Азадовский. Ленские причитания. Чита, 1922.
Н. Хандзинский. „Покойнишный вой" по Ленине. Сиб. Жив. Стар. III-IV, Ирк. 1925; стр. 43-64 и отд.

Ой и што я с ними теперь буду
делати,
Баба тёмная, не развйтая.
Как я буду их поить-кормить,
Как я буду их воспитывати.
Ты пойдешь, себе другую
найдёшь,
А ко мне и не воротисса.
Как подрастут дети малые,
Да и будут меня спрашивать
—Скажи, мама, hде наш папочка,
Да и почему он домой не йдет?—
Да и што мне hоворить имй,
Как ты там себе друhую
найдешь.—
—Не плачь, жонушка любимая,
Не найду себе я жены друhой,
Как я буду забывать тебя
И как деток своих малых.
А как спросят тебя детушки:
—hде наш папочка, аль нет
ehо;—
Ты скажи тоhда им, жонушка,
Он свободы добиваитца.

В этом причитании—диалог жены и мужа, уходящего в партизаны. Диалог в причитаниях прием довольно распространенный и в данном случае этот вид творчества, сохраняя старые приемы, старую форму, получил только новое содержание. То же самое можно сказать и о следующем причитании:

Причитание матери по сыну-партизану, убитому японцами.

Да куда же ты, сыночик, уходишь от нас,
Да на коhо же ты стариков своих покидаешь?
Да ты же мой сыночик был один работничек у нас.
А типерь ты, сыночик, уходиш
От нас во сырую землю,
Оставляиш нас стариков,
Ни способных к работе.
Да и кто теперь нас стареньких
Будет поить-кормить?
И кто нас похоронит, как мы тебя?
Да мы же, сыночик, на тебя только и надеялись,
А ты наш родимый, отказался от нас,
И пошел в лес и горы свободу добывать,
Не добился ты свободушки, а смерти себе,
А нам старикам hоря—hорести,
Сожhли вороhи нас, все разhрабили,
И тебя молодоhо со свету зhубили...
Не дали они тебе свободы дождатца,
Да не дали они тебе с новой жизнью спознатца.

В этом причитании, как я уже говорила выше, повторяются старые традиционные приемы „причети“. Проф. Азадовский в своей работе „Ленские причитания“, разбирая мотивы причитаний замечает:„ Центральным тематическим мотивом яв-

ляется описание сиротской участи.“ [1] В приведенных мною примерах господствующим является этот же мотив. „Мотив сиротской участи распадается на ряд второстепенных мотивов, которые являются уже только детализирующими моментами в развитии основного мотива. Из таких моментов наиболее распространен мотив „отсутствия работника,“ [2] пишет дальше проф. Азадовский в своем труде. В приведенных причитаниях мы отмечаем также наличие данного мотива. И еще одно сходство с причитаниями до революционного периода это—наличие „мотива несбывшихся надежд“ [3]. И только в конце приведенных мною причитаний вплетается новый мотив—борьбы за свободу, отчего меняется и весь характер причети.

Т. о. пользуясь традиционными приемами, не создавая новых форм, а наполняя только новым содержанием, поэзия деревни отражает моменты современности.

Все приведенные выше песни и причитания записаны летом текущего года во время посещения мной села Черниговки, Никольско-Уссурийского уезда, у местной крестьянки, Александры Лаврентьевны Клиндух 19 лет; сейчас она временно живет во Владивостоке.

Шура Клиндух—грамотная, кончила школу 1-й ступени, очень хотела учиться дальше, но мачеха ей не позволила. Все песни, частушки, причитания сообщала очень охотно и предлагала даже сама записывать их. Родители ее—переселенцы из Черниговской губернии, приехали в Приморье лет тридцать тому назад. Старики, по большой части, говорят по украински; молодежь же по русски. Партизанские песни поются обычно по русски. Причитание же по убитому сыну первоначально было исполненно по украински, так как родители убитого японцами партизана Чухно—старики-украинцы. Таким образом, перед нами в данном случае не точный текст исполненного причитания, но интерпретация его, сделанная Шурой Клиндух. Но, конечно, эта интерпретация вполне передает смысл и тип причитания, так как сделана человеком, всецело связанным с этим бытом, и в значительной степени, живущим его традициями. Между прочим, Шура и сама причитывала и причитывает теперь, особенно, когда вспоминает свою покойную мать.

---

[1] Марк Азадовский. Ленские причитания. Чита 1922; Стр. 46.
[2] Там же. Стр. 51.
[3] Там же. Стр. 53.

ЭТНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ
в 1925—26 гг.

Общий отчет о деятельности секции с приложением отчетов по поездкам: Г. С. Виноградова, М. К. Азадовского, С. Ф. Гущиной, А. М. Моловцовой, В. А. Малаховского, Е. Я. Самойловича и Н. М. Хандзинского.

ИРКУТСК 1926 ВСОРГО

Этнологическая Секция в 1925—26 году.

I.

Отчет о деятельности Этнологической Секции.

Работы Этнологической Секции за отчетный период шли по тому же плану, который был выработан и принят в прошлом отчетно году (см. Отчет Этнологической Секции за 1924 г.). Кроме того, Секция в текущем году вступила в связь со „Сказочной Комиссией“ Русского Географического Общества и приняла участие в составлении библиографического указателя русских сказок. Значительно углубились и расширились за этот период работы в области диалектологии, приведшие к организации (весной 1926 года) специальной диалектологической подсекции.

Вследствие ассигнования Главнауки, Секция получила возможность гораздо шире развить экспедиционную деятельность и сумела организовать ряд специальных поездок в разные места Восточной Сибири. Особенно ценным для Секции оказалась возможность предоставления сумм на организацию поездок студенческой молодежи из числа членов-сотрудников Отдела.

Летом 1925 г. были совершены следующие поездки:

1. Г. С. Виноградовым—в Тункинский край для изучения быта русского населения.

2. С. Ф. Гущиной—в Прибайкалье (Верхнеудинский район) для этнографического изучения русского населения.

3. В. А. Малаховским—на оз. Катакель для диалектологических наблюдений.

4. А. М. Моловцевой—в Тулуновский район (Ирк. губ.) для изучения быта и фольклора русского населения.

5. Н. М. Хандзинским—в Зиминский район (Ирк. губ.)—для фольклористических изучений.

6. П. П. Баторовым—в Аларскую степь для изучения бурятского фольклора.

Кроме того, без специальных ассигнований Отдела совершены поездки:

1. М. К. Азадовским—в Тункинский край для собирания сказок среди местного населения,

2. А. М. Поповой—в Прибайкалье (семейские селения Верхнеудинского уезда) для изучения быта и фольклора местного населения, в частности, для изучения партизанского движения.

3. Е. Я. Самойловича—в окрестные селения г. Иркутска для наблюдений над отражением современности в фольклоре и быте русского населения.

На собраниях Секции за отчетный период заслушаны следующие доклады: в первой половине 1925 г. (от января до летнего периода)

1. А. М. Попова. „Поездка к семейским в Забайкалье летом 1924 года."

2. М. К. Азадовский. „Обзор новых работ по устно-народной словесности".

3. П. П. Хороших. „О музыкальных инструментах монголо-бурят".

4. Его же. „План био-библиографического словаря сибирских этнографов".

Во второй половине 1925 г. и первой половине 1926 г. (с сентября 1925 г. по 1 июня 1926 г.).

1. Г. С. Виноградов. „Об этнографических изучениях в Тункинском крае".

2. С. Ф. Гущина. „Летняя поездка в Забайкалье".

3. А. М. Моловцева. „Поездка в Тулуновский район".

4. П. Ф. Требуховский. „Об изучении детских рисунков туземных племен Сибири".

5. П. П. Хороших. „О детском рисунке бурят".

6. Н. М. Хандзинский. „Поездка для изучения фольклора в Зиминский район".

7. М. К. Азадовский. „Этнография в Ленинграде и Москве".

8. Он же. „Тункинский сказитель, Е. И. Сороковиков" (из отчета).

9. А. М. Попова. „Поездка к забайкальским семейским летом 1925 года".

10. И. М. Мягков. „О методе изучения искусств туземных племен Сибири".

11. Он же. „Искусство сойот".

12. М. К. Азадовский. „Щапов как эноограф".

(Последние два доклада были перенесены на общее собрание членов ВСОРГО).

Диалектологическая подсекция организовалась весной 1926 года. Состоялось три заседания, на которых обсуждались методы собирания диалектологического материала и зачитаны доклады:

1. П. Я. Черных. „О составлении лингвистического атласа Сибири".

2. И. А. Фигуровский. „Об изучении народной речи с учащимися трудовой школы 2-й ступени в Иркутске".

Председателем Диалектологической Подсекции состоит П. Я. Черных, секретарем—Г. В. Тропин.

Издательская деятельность Секции выразилась в продолжении организованной в 1924 г. серии „Библиотека собирателя". За отчетный период опубликовано:

1. В. А. Малаховский „Об изучени русских говоров Сибири", с приложением очерка П. Я. Черных „Итоги и задачи диалектологического изучения Сибири". Ирк. 1925 г. стр. 48.

2. Г. С. Виноградов. „Детский фольклор и быт". Ирк. 1926 г., стр. 96.

В печати: М. К. Азадовский. „Семинарий по русско-сибирскому фольклору".

По сравнению с прошлым годом, несомненно, обращает внимание резкое преобладание тем и вопросов, относящихся к этнографии русского населения. Это объясняется не отсутствием интереса у Секции к изучению туземных племен, но, главным образом, тем что с прошлого года организованы при ВСОРГО две национальные секции: „Бурятская секция" и „Якутская". Т. о. вопросы туземной этнографии, естественно, главным образом разбираются на заседаниях последних двух секций; на страницах же „Сибирской Живой Старины", тесно связанной с работами этнологической секции, попрежнему находят отражение вопросы как русской, так и туземной эногрфии.

Президиум Секции (переизбранный осенью 1925 г.) состоял из следующих лиц: председатель—М. К. Азадовский; зам. председателя—Г. С. Виноградов; секретарь А. М. Моловцева.

II.

Отчеты о поездках.

Отчет Г. С. Виноградова о работе в Тункинском крае летом 1925 года.

Литература о Тункинском крае, представленная отчетами путешественников о поездках, небольшими описаниями края, журнальными и газетными статьями и заметками, содержит весьма небогатые и, при том, противоречивые сведения о населении долины вообще, русского в особенности. Это обстоятельство следует считать вполне оправдывающим этнографическую поездку в долину Иркута.

Узкая лесистая долина, сдавленная с двух сторон то сближающимися, то расступающимися горными хребтами, имеет лишь два, и при том—„тесных“ выхода: один—„на Русь“, другой—в противоположном конце—„в Мунголы“. Такое географическое положение, затем более чем двухвековая история размещения на территории этой провинции небольшой группы представителей славянского племени, пришедших сюда в разное время и из разных мест, общение с народами другой культуры при непосредственной близости количественно преобладающего—не только в прошлом, и в настоящем—бурятского населения и при беспрепятственных сношениях с Монголией,—все это заставляет предполагать, что современное девятитысячное русское население Тункинского края должно представлять для этнографа своеобразный интерес.

Продолжая работу *о судьбах славянского племени в Сибири*, я испросил у Восточно-Сибирского Отдела Русского Географического Общества командировку именно сюда.

В населенных пунктах, по дороге от Култука до Тунки, мои наблюдения велись, как в передний, так и в обратный путь, лишь на коротких остановках. Более продолжительные остановки я сделал на Аршане, в Ахалике, Тунке, Никольском, Хобоке, Шимках и Туране.

В короткий срок (в моем распоряжении было полтора месяца—июль и половина августа 1925 г.) и при том в летнее время, когда взрослое крестьянское население не имеет досуга, мне удалось осуществить только рекогносцировочную поездку (это и было моей главной задачей). Впрочем, удалось собрать и довольно значительный материал по интересующим меня частным вопросам этнографии и фольклора.

Мои дорожные записи и дневники содержат разнообразный этнографический материал: сведения о постройках, пище, одежде, хозяйственному быту (охотничий промысел, ямщина и пр.) и мн. др. Особое внимание удалось уделить вопросам народного искусства, в частности—стенной росписи. Моя спутница по Тункинской долине, Евлампия Васильевна Губанова, сделала для мена более четырех десятков зарисовок (в красках) „кутных заборок", потолков, наличников, несколько десятков цветных и карандашных рисунков резьбы и пр. Собран некоторый материал по народной инструментальной музыке (небольшая часть его составила содержание моей заметки „Музыканты в Тункинском крае". С. Ж. С., V, 38—40), а также и по вокальной. В праздничные дни удалось послушать песни людей всех живых поколений. Встречаются прекрасные голоса—как мужские, так и женские, и большие мастера-исполнители песен, особенно в среде немолодого поколения, попутно сказать, не симпатизирующего распеваемой молодежью песне новой формации—частушке: „каки-та нончи песни выкалупывают—чо ни следует" (Хобок); к романсам, проникшим в среду сельско-деревенской молодежи, отношение, можно сказать, уважительное. При собирании песенных материалов обращено внимание на цикл песен, именуемых в крае „казацкими". В разных селах собран материал по народному календарю, в частности, о праздновании семика, теперь год от года забываемого.

Почти в каждом селе называют популярных сказочников; я составил список их. Работа по записи сказок моего спутника в Хобок показывает, что слава этих сказочников принадлежит „достойным славы" (см. Отчет М. К. Азадовского о занятиях летом 1925 г.).

В связи с речью о музыкантах, певцах и сказочниках хочется упомянуть о „чудиках". Так называют в некоторых местах Тункинского края балагуров, весельчаков, мастеров на присказки, на веселые песенки, прибаутки и каламбуры. Они в народной праздничной и повседневной жизни играют заметную роль: они увеселяют на праздничных гулянках, они помогают заполнять досуг, они скрашивают зимнюю работу в избе; их приглашают на попрядушки (весенние и летние „старушечьи посиденки"), привлекая тем самым большое количество лиц на этот своеобразный вид „помочи". В Хобоке, вблизи Талой, слывет—не без больших оснований—Ив. Фед. Сороковиков, в Шимках—Нестор Инн. Зверев, в Туране—Егор Ив. Пежемский... Чудики и балагуры,—это одна из очередных задач и благодарная тема для этнографа.

Считаю обильными свои сборы материалов по детскому фольклору и удачным собирание мелких видов произведений устно-народного творчества (загадки, особенно скороговорки). Попутно накопились некоторые записи, относящиеся к вопросу о культурных взаимовлияниях русских и бурят, к местной речи (см. мои „Замечания о говорах Тункинского края", Иркутск, 1926), к истории заселения долины (устные исторические предания) и проч.

Сделал попытку собрать среди разных групп населения сведения об авторах, „на памяти стариков" занимавшихся наблюдениями над народной жизнью в крае. Более всего меня, естественно, интересовали Ровинский и Астырев. Большой знаток края, поселившийся здесь с 1870 г., Ив. Осип. Косыгин (с. Гужиры) помнит известного слависта, рассказывает, что Павел Аполлонович провел здесь года пóлтора, жил в Тунке, больше—в Зактуе; водил большое знакомство с бурятами, у которых приобретал предметы для археологических коллекций, покупал черепа, особенно—с русскими, принимая участие в гулянках, в повседневной и обрядовой жизни сельского населения; во многих семьях был кумом, тысяцким и т. д.

Не знаю, чем объяснить, но строгий судья русских тункинцев—Н. М. Астырев. хотя и жил здесь значительно позднее Ровинского, никакой памяти по себе, кажется, не оставил: кого ни расспрашивал о нем, никто не знает его.

О собирании музейного материала, как и о фотографировании, нечего было и думать при затруднительном финансовом положении. Вообще же работа протекала при весьма благоприятных условиях. Я неограниченно пользовался указаниями и помощью местных людей и знатоков края, в числе которых с признательностью должен назвать, кроме уже упомянутых, Марию Евгр. Тишенину (в Тунке), при содействии которой я свел знакомство с знатоками словесных произведений, М. А. Рутченко-Короткоручко (в Шимках), познакомившего меня с историей края, и др.; без ограничений пользовался я хлебосольством, простотой и радушием селлчан по всей долине; не оставил мою работу сочувственным отношением и Совет командировавшего меня учреждения. Всем им говорю спасибо.

Отчет М. К. Азадовского о летних работах в Тункинском крае.

Моя поездка в отчетном году имела несколько случайный характер. Я проводил лето на курорте *Аршан* и решил вос-

пользоваться этим пребыванием для выполнения поручения Секции: произвести разведки о сохранности и бытовании сказки в этом, совершенно еще не изученном в этнографическом отношении, крае. Аршан поедставляет очень удобное место, в качестве базы, для энографа. К источнику всегда стекается много народа (как русских, так и бурят) из ближних и дальних селений Тункинского района. Приезжают с Тунки, Ахалина, Шимков, Турана... Здесь легко завязать многочисленные знакомства и связи, сделать много попутных записей, навести первоначальные сведения о сказителях. Из таких бесед удалось узнать о существовании в одном из селений вблизи Аршана (*Ближний Хобок)* целой семьи сказителей: Марфы Ивановны Нефедьевой и ее братьев: Ивана и Егора Сороковиковых.

Мне удалось посетить это селение и познакомиться с названными лицами. Наибольший интерес из них представляет последний. Это—в полном смысле, выдающийся сказитель (он же и выдающийся музыкант: см. заметку Г. С. Виноградова о тункинских музыкантах). Как большинство „настоящих" мастеров-сказителей, он очень охотно и с большим удовольствием согласился рассказывать мне сказки. В три сеанса—а больше не удалось провести: время было летнее, рабочее—я записал от него 10 сказок, которые, большею частью, являлись очень пространными и длинными. По сюжетам записанные сказки распределяются следующим образом: 1. „Самойло Кузнецов" (заглавие сказителя)—по каталогу сказочных типов Aarne № 300: бой с чудищем; 2) Чудесное кольцо—Aarne, № 560, с любопытной заменой одного из сбычных зверей—соболем: 3) „Иван-царевич и Алихан-богатырь"—Aarne № 315 (неверная мать); „Бабушка Домна"—Aarne, № 1641 (мнимая ворожея); 5) „Серый Волк"—Aarne, № 550; 6) „Беспечальный Монастырь" —Aarne, № 922 („Император и Аббат"), 7) „Священник и псаломщик воруют корову"—Aarne № 1790; 8) „Серебряные шевяки"--Aarne. № 1539, а также 9) сказку о „Буй-Волке" (Aarne?) и 10) о „Соловье разбойнике".

Сказки Егора Ивановича Сороковикова представляются довольно своеобразными в русской сказочной словесности. Сказитель очень хорошо грамотен, не мало читал и на деревенский масштаб довольно образован. У него даже есть небольшая собственная библиотечка, состоящая из ряда справочников медицинского и сельско-хозяйственного характера и нескольких, конечно, совершенно случайных томиков беллетристики. По его признанию, он знаком и с географией и астрономией. Эта его начитанность своеобразно отразилась на характере и колорите рассказанных им сказок.

Его сказки, вообще, очень выдержанны и цельны. В основе лежит единый целостный сюжет, развивающий, обычно, традиционные положения; традиционна и внешняя форма: обычные зачины, концовки, соблюдение закона троичности, обязательные повторения и пр.; но вместе с тем в них выразилась и прикосновенность сказителя к иной культуре. Его стиль хранит отчетливые следы встречи этих двух стихий: устно-народной и книжной—и часто какое-нибудь традиционное положение волшебной сказки передается в необычной терминологии культурного обихода. Так напр., Самойло Кузнецов не просто принимает вызов богатыря на единоборство, но „выставляет свою кандидатуру"; известие о замечательной ворожее заносится „в редакцию" и об этом „газеты отпечатывают на все стороны" и т. п. Вот несколько примеров его стиля: „купеческая жизнь его не удовлетворяла—мысль его была направлена совсем иначе"; „в конце-концов подошел роковой момент етова зверя", „када получитца ета страшная катастрофа" и др. т. п. Отсюда—и новые черты в облике сказочных героев; яркий пример дает сказка о Буй-Волке—Иван-Царевич ищет себе невесту, наконец находит, и вот какой разговор ведут оне: „Царевна говорит: „ничем не занимаюсь, пользуюсь только што, чем мир божий живёт, как понравились ли мои занятия вам?"—„Очень даже доволен", сказал Иван-Царевич, „потому я и сам мечтал такую же жизнь".

Другого типа рассказы и сказки записаны от старшего брата его, Ивана Ивановича (Ег. Ив-чу около 50 лет, Ив. Ив-у под 60); „брат Иван на присказки истошник" выразилась о нем сестра его. И действительно, его любимый жанр—веселые коротенькие побасенки, по большей части, непристойного характера. От него записано: 1) Неверная жена и мнимо-ослепший муж—Aarne № 1380, 2) „Кундышка"—из серии о дурнях, Aarne, № 1696, 3) прыганье в штаны—Aarne № 1296 и др.,—всего около 10 №№. Три сказки записаны от престарелой Марфы Ив-ны Нефедьевой, но память уже значительно изменила сказительнице и ее тексты большого значения и интереса не представляют.

Общим учителем для всех троих явился отец их, умерший уже очень давно и слывший по округе за самого замечательного музыканта-скрипача и сказителя, и, что очень важно, умевший рассказывать, как по-русски, так и по-бурятски (Сороковиковы, Нефедьевы—ясашные, или, как они сами себя называют „инородцы", т. е. происшедшие от смешанных браков русских с бурятами). Это придает особое значение репертуару семьи Сороковиковых.

Должно еще добавить, что Г. С. Виноградов, посетивший в это же время ряд других селений (Ахалик, Тунка, Шимки, Туран и пр.), установил наличие еще целого ряда сказителей и сообщил мне их имена. Я предполагаю, как только представится возможность, еще раз посетить эти места и таким образом глубже охватить и обследовать, видимо не малое, сказочное богатство Тункинского края.

Краткий отчет С. Гущиной о поездке в Забайкалье летом 1925 года.

Лето 1925 года я провела за Байкалом в селе Турунтаево, где собирала этнографический материал по поручению В. С. О. Р. Г. О.

Большое с. Турунтаево находится в 50 верстах от Верхнеудинска и в 16 от железной дороги. Оно окружено деревнями, которых насчитывается около 10. Население старожильческое, занимается население земледелием, но „своёва хлеба хватат до Рождества". Особенно тяжело отозвались последние три года. Подсобными средствами для существования являются: рыболовство на оз. Байкале—„ходят на Каргу; выгонка или „сидʼнье" смолы и дектю, пережигание изести; скотоводство, кедровый промысел; охота, главным образом, на белку и соболя, и ямщина—перевоз груза и „проезжающих" по Баргузинскому тракту. Девицы от 15 лет „идут в городʼ" в прислуги. На лето они вызываются домой „к страде". Девочки от 6—7 лет няньчатся дома или в „чужих людях". Мальчики идут в „бороновóлоки" или же помогают родителям.

Работала я, большею частью, среди детей в возрасте от 6—7 до 14—15 лет. В зависимости от возраста, дети делятся на несколько групп. Можно отметить группу младшеньких: 6—8-леток, средних от 9 до 12 и старших 12—15 лет. Средняя группа выделяется не так резко, как остальные. Она является как бы связующим между ними звеном,

Малолетки редко играют в группе старших и неохотно принимают их к себе. Старшие относятся к ним с некоторым пренебрежением: нарушают правила игры, когда играют в их группе, и не уравнивают их в правах, когда младшие играют вместе с ними. Заметно, что младшие находятся в подчинении у средних, а те, в свою очередь, у старших. Тут, кажется, и производится передача знаний от одной группы в другую.

Турунтаевские дети делятся еще в зависимости от местность, на верховских и низовских. Низовских больше; они тяготеют к „мангазею“, хотя встречаются и у „нардома“. Верховские, не особенно многочисленные, ближе стоят к пионерам и приезжему элементу. Нередко, по рассказам детей, случались стычки между верховскими и низовскими.

Девочки собираются большими группами не так часто. Обычно собираются по двое, по трое в избе или на дворе и играют в любимые игры: избушки и куклы.

Избушки „налажены“ не у всех, но „стекло“ (осколки посуды—необходимая принадлежность избушки) имеется у большинства. Захочется играть—отыскивают „стол“ (таз или небольшую чурку), „скамейки“ (продолговатые доски, поднимаемые на кирпичах), раскладывают „стекло“... и избушка готова. Начинается стряпня „кушанок“ из земли или глины. В этом и проходит игра, в этом заключается и содержание ее.

Особенно любимы девочками куклы. Куклы чаще всего шитые, покупных, встречается немного. Куклы шьются или самими девочками или же старшими—матерями и сестрами. Куклам „наряжаются комнаты“, где они „обедают“, „спят“, „ходят в гости“, нередко „выходят замуж“, „родят“ и „умирают“. Материал для кукол и их одежды: лоскутки, нитки берутся, часто воруются у старших.

Рассказывают, что девочки, особенно, не умеющие шить, воруют у подруг куклы, имущество из избушки. Таких „воровок—куричьих головок“ не любят и избегают с ними играть. В куклы и избушки играют с 3—4 до 12—13 лет. Приходилось слышать рассказы об игре-импровизации „в свадьбы“.

В Турунтаево имеется отряд пионеров, состоящий из 16 человек. Пионеры держатся особняком. Между ними и низовскими ребятами замечается неприязнь. Подходить к пионерам было гораздо легче, остальные же дети долго не подпускали к себе.

Мне приходилось бывать на словесных состязаниях ребят, происходящих в естественной обстановке: на полянке или на лавочке, где ребята загадывают загадки, говорят скороговорки, рассказывают сказки.

Рассказывали, что в селе есть хорошие сказочники, как взрослые так и дети. Одного из сказочников-мальчуганов—Ваню Карнакова, лет 11, удалось послушать и мне. Он научился от своего отца, славящегося по всему селу. Рассказывает Ваня увлекательно, умеет владеть слушателями.

Весь материал по детскому фольклору, собранный мною, можно разгруппировать так: 1) считалки, 2) календарный фольклор (рацейки и др.), 3) песенки, относящиеся к какому-либо случаю, напр. к колокольному звону, 4) песенки, не связанные с чем-либо, 5) поверья, 6) загадки, 7) скороговорки, 8) задачи и вопросы, 9) дразнилки, 10) издевки и поддевки 11) прозвища. Записывала заодно колыбельные песенки и потешки.

Всего собрано 540 №№; собран также материал и для детского народного календаря. Из семидесяти игр, отмеченных мною в Турунтаево, описать удалось двадцать три. Наблюдения за игрой в разных группах дали возможность заметить разницу в характере ее исполнения. Основные положения той или иной игры, схема ее—постоянны, но в деталях наблюдается различие. Младшая группа сохраняет остов игры, уделяя менее внимания деталям, другие же группы заполняют и отделывают частности. Наблюдения за играми дали мне возможность отметить кое-что из области, которую некоторые исследователи называют детским обычным правом. Так, мною записано девять видов наказаний, бытующих в Турунтаево. Наказания применяются часто. Главной виной является „хлюзда", т. е. нарушение правила игры.

Кроме наблюдений за детьми и изучения их творчества, я записывала еще свадебные песни от Дарьи Егорьевны Коневой. Это старушка лет 60, проживавшая в Турунтаево лет 40, Родом она из соседней деревни Ельцовой. Славится как хорошая певунья, особенно на свадьбах. Песен Д. Е. знает много и понимает их. „Ведь в их истова правда",—не раз говаривала она, заливаясь слезами во время записей.

Собрано еще несколько предметов для коллекций по детскому быту: куклы, кушанки, ключка, брызгалки и др.

В заключение считаю долгом поблагодарить Восточно-Сибирский Отдел Русского Географического Общества за моральную и материальную поддержку в моей работе.

Краткий отчет А. М. Моловцевой о поездке в Тулуновский район летом 1925 г.

Конец июля (две недели) мною был проведен по поручению Этнологической Секции ВСОРГО в Тулуновском районе, главным образом в сс. Шарагуле и Перфиловом с целью собирания этнографических материалов.

Эти села находятся на расстоянии 28 верст. Шарагул расположен на линии ж. д., Перфилово же в стороне, в 22-х

верстах. Население того и другого села исключительно русское и преимущественно старожильческое. Жители занимаются сельским хозяйством, только в с. Перфиловом подсобным промыслом служит добыча кедровых орехов, белки и рыбы. Рыба добывается в верховьях реки Ии; орехи и белка—в „Белогорье" (отроги Саянских гор), верстах в 100 от Перфилова. Приблизительно в 50 верстах от Перфилова, от Шарагула немного дальше, встречается туземное население—буряты.

Время, которое мне пришлось использовать для командировки было очень неблагоприятное в том отношении, что наступил самый разгар сенокоса, всем было некогда и „не до песен", как мне некоторые говорили, отчасти поэтому мне не удалось выполнить план командировки так, как я предполагала.

Главное внимание мною было направлено на собирание песенного материала от песенников-знатоков и на собирание словарного материала русского старожилого населения.

В с. Шарагуле я нашла двух песенников—больших знатоков русской народной песни;—это Алексей Кондратьевич Бологов, 46 лет, и Неонила Васильевна Аверьянова, 55 лет. В деревне их считают первыми песенниками. Их репертуар очень велик. К сожалению, от А. К. Бологова мне ничего не удалось записать, так как он очень был занят полевыми работами. От Н. В. Аверьяновой мне удалось записать 20 песен и одну речь дружки, „когда девки ходят к жениху плясать"— Это очень небольшая часть ее репертуара. Когда она мне сообщала песни, то сказала: „я уж тебе буду выбирать самы стары песни, которы ишшо мая баушка пела, а то всех та их ты и ни пирипишишь". Записать исчерпывающим образом ее репертуар не удалось, потому что она живет на заи.ке (20 верст от Шарагула) и приезжала в Шарагул только на три дня, последовать за ней я не могла. Песни поет она и в гулянке, и на работе, в особенности в долгие зимние вечера, сидя за прялкой. Когда гуляют компанией, то Неонила Васильевна поет больше всех. Голос у нее—контральто—не совсем чистый, но сильный. Она „заводит", за нею подтягивают другие. Н. В. славится также, как плясунья. Язык очень острый и меткий; недаром в молодости ее всегда выбирали дружкой (шуточный свадебный обряд—девицы „наряжались" женихом, невестой, тысяцким и т. д., представляя собою целый свадебный поезд и приходили плясать в дом жениха, где их угощали).

Большую часть песен я записывала у нее прямо с голоса. Мелодии записать не смогла, а постаралась только некоторые

из них заучить. Кроме этих песен, в Шарагуле и Перфиловом записано еще несколько десятков песен (также с заучиванием мелодий) от разных лиц. Записано около 400 частушек.

Кроме этого я занималась еще пополнением словарного материала, собирать который начала 4 года тому назад, в той же местности. Собрано около трех тысяч народных слов и выражений. За эту поезку собран незначительный материал по детской этнографии: детские игры, считалки, жеребьевки,— всего 60 произведений.

Удалось записать еще очень незначительный материал по народной медицине и две легенды о святых: „Об Илье пророке“ и „О Борисе и Глебе“.

Отчет В. А. Малаховского о диалектологической поездке в Баргузинский район.

Летом 1925 года я продолжал работу по исследованию русских говоров, расположенных по побережью Байкала. [См. „Отчет о диалектологической поездке в село Посольское (оз. Байкал) в августе месяце 1924 г.“. Сиб. Жив. Стар. 1925 г., вып. III—IV]. На этот раз я избрал Баргузинский район, о котором в диалектологическом отношении известны лишь отдельные, разрозненные сведения. Моя поездка продолжалась с 9 июля по 23 августа. За этот период мне удалось познакомиться с особенностями народной речи в Горячинске, Истоке, Устье, Катакели, Нестеровой, Макаренино.

В своей главной массе говоры этих деревень и селений принадлежат к типу средне-великорусских говоров, т. е. говоров с северно-великорусской основой, но с рядом южно-великорусских особенностей. Говоры эти акающие, стоящие очень близко по типу аканья к московскому, с типичным для Москвы *и* вм. *е* и *а* (после ч): (чисй, бисплатнъ) в предударном положении. Почти всюду распространена шепелявость *с* и *з*. Она наблюдается несколько реже в самом Горячинске, но говор горячинцев, вообще, повидимому, испытал сильное влияние больных и дачников, приезжающих в этот курорт. Примеры: *взяшть, Кышьтинтиновна, шемешьки, вешити, Баргужиняты, ж дерева*. Замечается в отдельных случаях произношение ў (неслогового) вм. *в* и *л*: ў ем (в нем), кароўа (карова), масўа, взяў и пр.

Любопытно сохранение таких северно-великорусских особенностей, как *сивер, сиверный, съясь, ись, содоржать, гаварели, зимусь, веснусь* и пр.

В словаре много любопытных явлений в связи с революцией: таково, например, осмысление некоторых слов, получивших гражданские права за последнее время: *разделюция* (революция), новилизация, *партельный* (партийный, по аналогии с артельный), *передристация* (перерегистрация), *невдот* (анекдот) и т. п. Сравн., напр., фразу: „У миня́ сапади́ никульту́рныи".

В области морфологии отмечу следующие особенности: орех—ср. рода—„*адно* арех—пуд", путь жен. рода—*кака́я* путь *далекая;* слова *память, климат* и др. употребляются во множественном числе (Исток): „*Климата́* больно *плахи*, на майх *памятя́х* бы́ла; множ. число на *Ы*: *окны, глазы* (Горячинск); формы *род. мн.* ч. на *ов: зда́чеф* нет у миня́, тут не́ была́ ра́ньше избоф, ску́лькоф ва́нноф зде́лали, на больши́х ря́боф, версто́ф два́дцать и пр.; именит. мн. прилагательных на ие́, ые́: слабо́дные́, сла́дкие́, то́лстые́ и пр. твор. пад, *числит.* — *шесьли* хунта́ми, формы—на *лошаде*, на *скатерте*, у *мене*, у *тебе*, у *себе*, у стене, у степе и пр.; наличие звательной формы: „Иди сюда, сы́ночку!" Обилие суффиксов имен существительных: *бединушка, братя́на́чька, ялщя́на́чька, радя́ма́чька* и пр.

Особняком следует поставить говор Катакели, отчасти Истока. Жители этих деревень старообрядцы-семейские. После блестящего описания говора старообрядцев семейских, данного проф. Селищевым в его работе „Забайкальские Старообрядцы. Семейские. Иркутск, 1920 г.", трудно прибавить что-либо новое. Поэтому ограничусь немногим.

Большинство жителей Катакеля и Истока переселилось сюда из Тарбагатая, Кудары, Шаралдая, Бичуры и др. семейских поселений за Байкалом. В памяти старожилов еще живы рассказы о тех битвах, которые происходили за обладание землей между „русскими" и „семейскими".

Это разделение на „семейских" и „русских" население настойчиво проводит до сих пор. У „русских" всех хуже: „Ано́ а ɣаро́т ня развё́дють, тако́й лянцва́й нарот—бяда". Избы у „русских" обязательно „грязные", богу не молятся: („Ни в бо̣а, ни ф чо́рта ня ве́рять"): „адно́ сло́ва—гря́зна́й наро́т". Если „мыладо́й" парень из семейских берет в жены „ру́сску"—это целое преступление, на него смотрят, как на погибшего человека: „Да чо́, плакуще де́ла—савсе́м па́рень испо́ртилса,

как ру́сску взяў—и табак стаў кури́ть и пить за́чаў". Быт семейских еще крепок и устойчив. Каждое утро в семье Степанова (у которого я жил в Катакели) вся семья выстраивалась перед образами и начиналась длинная молитва; то же и перед всяким делом, обедом, ужином и т. п. Вот хозяйка направляется доить коров. Она крестится перед образом, молится и только после такой подготовки идет к коровам.

Интересно отметить, что у семейских сейчас в большом ходу рассказы о „согрешивших", „отступивших от бога" коммунистах. Перенесенные несчастья заставляют коммунистов в этих рассказах вновь обращаться к „небесам". Несколько таких рассказов удалось записать и мне от М. Н. Степанова.

Но и в этот застоялый, заплесневелый быт революция внесла трещины. Среди семейских уже есть свои протестанты, и что всего любопытнее, не молодежь, а старики. С одним таким протестантом мне удалось познакомиться. Это интереснейший человек, знаток „священного" писания, повидимому перестрадавший и продумавший свой атеизм. В деревне над ним посмеиваются, считают чудаком, а он вдумчиво и со своеобразной глубиной пытается решить вопросы о боге, вселенной, человеке.

Но таких лиц немного. Главная масса семейских живет, еще свято соблюдая старину, так, как „наши старики жили".

Говор катакельцев—типичный южновеликорусский говор, правда несколько видоизменившийся под влиянием соседей северно-великоруссов. В области звуков укажу на начальное *в* в словах, начинающихся гласным звуком: *ву́ткӑ ву́трӑм, ви́зиро*, вани́, вирапла́н. Фрикативность γ не везде сохраняется: в этом случае замечается колебание: аγаро́ду, *гало́сят*: любопытна замена *к-т*, *г-д* и наоборот, мена *з* и *ж*, *с* и *ш*. Примеры: „Я у ма́мӑшьти зила́, я у па́пашьти зила́, падя̆ида́ла кокошьти" Интересны формы: сено *убрато, вымыисси*, и пр. Из области синтаксиса считаю необходимым отметить употребление деепричастных форм: „Я *пришо́дшы* за две́сти вярсто́ф". „Как он пыжало́ючи мне и гывари́т". Любопытно употребление местоимения *никто*: „Ни хлеба, *никаво* нет". *Каво* купили?"... Ни пыли, *ни каво* нету. Из словаря интересны: *наипаче, воздымай*! „Воздымай калисо́" и др. слова церковного происхождения.

Помимо диалектологических наблюдений, мне удалось записать в Катакели интересные тексты причитаний: одно особенно художественное по форме. В Истоке и Катакели записал

от М. Н. Степанова четыре легенды об оборотнях, и от разных лиц около 14 причетей, несколько песен и частушек. Удалось в Катакели познакомиться с народным поэтом Евдокимом Микишовым. Он пишет длиннейшие стихотворения на местные злобы дня в форме газетного фельетона. Вот начало одного его произведения:

Напишу рассказ карочь,
Только прошу не опорочить
Напишу я вам рассказ,
Это летом было раз и т. д.

Подобных поэтов из народа мне приходилось встречать и в других местах. Они пользуются неизменным успехом у населения.

Краткий отчет Е. Я. Самойлович о летних наблюдениях среди крестьян д. Марковой и др. соседних с ней, Иркутского уезда.

Мои наблюдения летом 25 года были главным образом опять в д. Марковой и соседних с ней Кузьмихи и др. (см. мой отчет за 24 г. о Марковой в № 111 IV Сиб. Жив. Старины) Этим летом мне хотелось углубить те данные, которые были собраны в предыдущую экскурсию.

По рассказам крестьян, большинство их предков—вся Смоленская вол.—были казаки. Лет 45 тому назад все перешли в крестьянство. Были и сыльнопоселенцы. Последние приписывались позднее, против желания крестьян, по настоянию властей.

Свадебный обряд, материалы по которому я записывала из разных деревень удалось наблюдать прошлой зимой лично в д. Олхе, летом я проверила в Марковой, как обряд так и тексты песен. Есть некоторая разница в деталях: в Олхе обряд значительно сложнее, в Марковой же проходит более упрощенно. Удалось также нынче собрать в д. Марковой по народной медицине. Кроме записи растений лечебных были записаны другие лечебные средства в связи с наговорами, кроме указанных в старом отчете. Эти сведения были записаны со слов знахарки-бабки повитухи и знахаря. Записаны сведения о родильницах, уход за ними и лечение женских болезней.

Из фольклорного материали удалось к ранее записанным прибавить довольно большое количество частушек. Частушки

большей частью любовные, но много и таких, в которых отражается современность. Частушки поют молодежь и дети подростки. Поют их даже самые маленькие. Старое поколение на своих пирушках поет старинные песни. Из современных старикам нравится „Ванек"; ее поют с удовольствием. Старинные песни я записывала главным образом от двух лиц: от одного—крестьянина Якова С-го. Он знает очень много песен, когда-то был первый песенник на деревне. Теперь старый человек. Поет только, когда выпьет. Голос пропал, так как он был ранен в грудь. Легкие повреждены.

Вообще, это очень живой веселый остроумный человек. Любит пошутить. У него очень образный язык. Каждое его слово сопровождается какой-нибудь присказкой. От него же мне удалось записать много рассказов в связи с верованием в нечистую силу. Эти верования проверяла у других лиц, а также сведения по народной медицине.

Песни свадебного обряда, главным образом, записаны мною от певицы, которая всегда поет на свадьбах и на всех пирушках; слывет хорошей песенницей. Женщина средних лет. Тексты старинные, хорошо сохранившиеся. Многие из текстов значительно полнее, чем мне приходилось встречать в печати. Молодежь песен старинных совсем не знает.

Удалось выяснить, что в прежнее время эти деревни Маркова, Олха, Кузмиха, Максимовщина занимались посадкой конопляников. Я записала подробно, как вырабатывается конопле. Выработка его самая примитивная. Все эти деревни заняты были пряжей. Женщины получали заказы на мотауз от „корабельщиков". Так называли предпринимателей рыболовов на Байкале. Нитки им нужны были для рыболовных снастей. На доходы с этой пряжи женщина одевала себя.

В настоящее время посадкой конопля занимаются очень мало. Пряжей еще меньше. В Олхе и Смоленщине есть несколько старушек, которые прядут и ткут. Ткут половики и холст для мешков. Из молодых никто пряжей и тканьем не занимается. По расказам крестьян и из литературы удалось установить, что в Смоленщине были очень хорошие сорта конопля. Мало занимаются коноплем, потому что „хлапот с им внога, а на базаре ано дешава".

Не смотря на близость к городу, в деревне нет ни одного культурного уголка. Ни избы читальни, ни школы, ни даже ячейки комсомола. Ближайшая школа в Кузьмихе за 6 верст. А необходимость в таком культурном очаге огромна.

Отчет Н. М. Хандзинского о поездке в с. Кимильтей осенью 1925 года.

Село Кимильтей находится в 10 часах езды от гор. Иркутска (по ж. д.). От станции до села 10 верст. Первая же встреча на станции сразу обрисовала характер тех материалов, которые следует искать в этом районе. Только что отъехал с подводой, увидел какую то женщину, что-то кричащую вслед. Возница пояснил: „Зверева баба,—просит в исполком затьти, спасобия за мужа хлапочут... Мужика то бандиты на костре сожгли... партизан был“...

Через избу читальню собрал сведения о партизанах. Здесь известно 4 отряда: Новокшанова, Бурлова, Зверева, Сенотрусова (Белый). Участники: Костенко (Сергей Яковлевич), Копанов (А-р Ив.), Кисель, Зыков и Рубан. К сожалению, записей от партизан сделать не удалось: было неудачное время: одни работали на заимках, другие перебрались в Усть-Куду. Полагаю этот пробел пополнить следующей поездкой.

Более удачными оказались поиски фольклористических материалов. Брат партизана Костенко, мальчик, познакомил меня со сказочником, Антоном Чирошником (Антон Игнатьевич Кошкаров). „Ребятишки сабираются к иму—и так и спят у ево по полу, да утра“...

Антон Игнатьевич — малограмотен, инвалид труда, лет 50-ти. Любит рассказывать исторические романы и с гордостью говорит: „ат старйзмах я ни аташол“... Он большой мастер сказки, знает их много; по его словам: может хоть весь год каждый день рассказывать. Но мнение о сказке иное, чем об историческом рóмане: „скаску?.. Мне уж ни мýтарна и гаварить-та“...

От Антона я записал:

1. „Прибаутку (небылица). 2. Исторический рóман „Дом тирпимости“ сочинения Гоголя. 3. Пра дочь Меньшикова. 4. Хахол и царская дочь. 5. Рыцарская повись — Английский Милорд Гиорг с историей Марцилтриса. 6. Три брата багатыря. 7. Пра Брюса. 8. Пра Ермака. 9. Об Ивани купечискам сыни и француской каралевни“. Сказки Антона Игнатьевича я слушал до 2-х—3-х часов ночи. Днем записывал свадебные песни (до 1000 стихов), среди которых записал редкие образцы, свадебных причитаний (до 400 стихов),—а также заговоры—до десятка. Записаны мной также образцы говора в отдельных фразах и цельных разговорах.

В заключение сообщаю имена носителей народной поэзии, которые мне удалось установить за мое короткое пребывание в с. Кимильтей:

Кошкаров Антон Игнатьевич (Антон-Чирошник) —сказочник. Евсей Агеич „(Дехтярь безногай),—ис касой калотки"; „дёгыть сидит; живёт пад глинкай на заимки у Рамана Микалаича Бухарава,—па летней дароги вёрс десить"—(от Кимильтея)—сказочник. Золотарева, Варвара Никифоровна (Варвара Косая), Мангазейская улица, — знает заговоры. Бабушка Рысиха, Прасковья Петровна, „ис Касой Калотки"; заговоры. Попова Авдотья Тимофеевна, (пат Камнем); заговоры от змеи. Кирянов (рядом с Костенко—за церковью) сказки про богатырей. Ульянов Филипп Аксеньеч—рядом с Товариществом. Заговоры. Дресвянская Мария Егоровна,—приворожить—отворожить. Перетолчина Катя (Екат. Петровна), „пат Камнем"; песни причитанья, частушки. Сенотрусова Верочка (по мужу Ступина В. Григорьевна) и Рагозина Матрена Алексеева —Песни. („Ане оби во церькви пают—на крыласти и Верачката и та"...). Маруся Осипова—песни, привороты, отвороты... Бурят Бузуев—прозванья—Николай, фамилья Сахаруской—80 лет, дер. Тарянина—улус (от ст. Кимильтей верст 12; „Раскашик—всех царей знает"... Баландин Василий —путешествовал по Востоку; хорошо знает Хиву, Бухару, Персию; говорит на восточных языках (переводчик Куропаткина). В Туркестане был знаком с М. Горьким; последний — лечился от желтой лихорадки и жил у Баландина; в благодарность вышил ему не то ковер, не-то одеяло и уехал с помощью Баландина в Баку. (Баландин может быть интересен, как рассказчик-путешественник и как знакомец Горького, с которым он переписывался).

Эта поездка, из которой я привез не менее 20—25-ти печатных листов материала, расценивается мной все же, как разведка—и разведка — безусловно удачная,—т. к. открытие даже одного сказочника Антона считаю большим достижением.

Совету ВСОРГО за предоставление возможности осуществить эту поездку приношу глубокую благодарность.

СОДЕРЖАНИЕ.

	Стран.
Георгий Виноградов. Народная педагогика	1— 28
А. Попова. Песни партизан	29— 37
Г. В. Из записей фольклориста. Музыканты в Тункинском крае	38— 41
Н. Хандзинский. Блатная поэзия	42— 83
Анна Пруссак. Из сибирских сказаний о декабристах	84— 84
П. Черных. К вопросу о диалектологическом атласе Сибири	85— 94
П. Хороших. Бирки иркутских бурят	97—112
Н. Попов. Пища тунгусов	113—144
Е. Н. Орлова. Юрацкие игрушки	145—152
А. Тугаринов. Андроновские могилы	153—158
А. Соколова. Материалы для изучения партизанской поэзии	159—162
Этнологическая Секция в 1924/25 г.г.	163—181